

ВАЛЕНТИН СКВОРЦОВ

# Мои впечатления о XX веке

Часть II  
1953–1968



Валентин Скворцов

**Мои впечатления о XX веке.  
Часть II. 1953—1968**

«Издательские решения»

## **Скворцов В.**

Мои впечатления о XX веке. Часть II. 1953—1968 /  
В. Скворцов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-512444-9

Заслуженный профессор МГУ Валентин Анатольевич Скворцов во второй части своих мемуарных записок рассказывает об общественной и культурной жизни Московского университета на фоне исторических событий, которые в 50-е и 60-е годы переживала страна и мир. Это было время неустойчивой хрущевской оттепели, закончившейся поражением пражской весны. Автор, ставший студентом МГУ в 1953 году, описывает, каким ему в то время виделся окружающий его мир и что повлияло на эволюцию этих представлений о мире.

ISBN 978-5-00-512444-9

© Скворцов В.  
© Издательские решения

## Содержание

1. Начало студенческой жизни в МГУ на Ленинских горах	6
2. Колхозное лето	23
3. Перепады настроения на втором курсе	27
4. Снова в колхозе	34
5. Приобщение к научным делам	38
6. Взгляд на события в мире.	48
7. Политика пришла на мехмат	57
Конец ознакомительного фрагмента.	63

# **Мои впечатления о XX веке**

## **Часть II. 1953—1968**

**Валентин Скворцов**

*Корректор* Екатерина Василенко

*Дизайнер обложки* Ольга Третьякова

© Валентин Скворцов, 2020

© Ольга Третьякова, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-0051-2444-9 (т. 2)

ISBN 978-5-0051-2443-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## 1. Начало студенческой жизни в МГУ на Ленинских горах

В последние дни августа 1953 года я поселился в общежитии в новом здании МГУ на Ленинских горах, в комнате «В-1256 левая». Это означает: зона В, 12-й этаж, левая комната в блоке 56. В главном здании было (и есть) 11 зон, пронумерованных буквами от «А» до «М». Слово «зоны» сохранилось со времени строительства и, быть может, было навеяно тем, что основными строителями были заключенные. Позднее зоны стали называть секторами. Кстати, некоторые буквы в наименовании зон были почему-то пропущены. Нет зоны З, зато есть зона М и зона Ж. Все студенты, включая первокурсников, получили по отдельной 8-метровой комнате, а аспиранты жили в комнатах по 12 метров, и у них в каждом двухкомнатном блоке был телефон. Правда, это продолжалось лишь год или два после открытия главного здания. Уже со второго учебного года начались уплотнения, и в бывшие аспирантские комнаты стали селить по два студента. А первый год отличался еще тем, что в наши комнаты стучались уборщицы и, если заставали нас дома, то, как в образцовой гостинице, спрашивали, когда можно убрать комнату. Не хватало только таблички «Не беспокоить». На каждом этаже недалеко от лифтов сидела дежурная, в первый год вполне еще приветливая, перед ней были телефоны и пульт с кнопками для связи с каждой комнатой. Если в прихожей нашего блока раздавался один звонок, то значит, к телефону вызывают меня, а если два – то моего соседа Рамиля из правой комнаты.

Самым приятным местом на этаже были просторные гостиные, по одной на каждые два этажа. Лесенка в гостиную вела на балкончик на уровне верхнего этажа, где обычно стояли шахматные столики, и я в первый же день там с кем-то сразился. А внизу стояло пианино и был телевизор. На пианино чаще всего наигрывал что-нибудь джазовое наш однокурсник Витя Шебеко. Более серьезные вещи играл заходивший в гости в общежитие москвич Андрюша Степанов. Москвичи очень часто после занятий задерживались в общежитии, которое было, несомненно, центром общения. В этом смысле мы, общежитские, оказывались в привилегированном положении по сравнению с москвичами, которым к тому же тогда было довольно трудно добираться из Москвы до университета. Ведь метро тогда не доходило до МГУ (станция «Университет» открылась только в 1959 году). До университета добирались автобусами от Киевского вокзала или от Октябрьской площади. А из общежития утром, чтобы попасть на лекцию, достаточно было пробежать по коридору на 19-м этаже общежития и оказаться на 13-м этаже мехмата. Правда, сначала надо было еще успеть спуститься на лифте вниз в столовую позавтракать, но если не успел, можно что-нибудь перехватить в буфете на факультете.

Гостиные были всегда открыты. Лишь много позже, через несколько лет, к концу хрущевской оттепели, когда усилился контроль над общественной жизнью студентов, для проведения какого-нибудь вечера или собрания в гостиной нужно было получить разрешение партийного начальства. А тогда, в первые годы, почти каждый день в гостиных что-нибудь происходило. Большие стеклянные двери из гостиной вели на балкон, выходящий во двор зоны. Со двора было видно, на каком этаже происходит что-нибудь интересное. Прежде всего, конечно, нас интересовало, где в этот вечер танцы. А по субботам и воскресеньям они были почти на каждом этаже. Правда, в первый год некоторое осложнение вызывало то, что зоны общежития были разделены на женские и мужские. Зона В была как раз мужской, а наши девочки жили в зоне Б. Но мы к ним и они к нам проходили в гости без проблем. Потом от раздельного проживания отказались, а когда его снова ввели через несколько лет, то режим прохода в чужие зоны крайне осложнился. Доходило до смешных ситуаций, когда мужу приходилось оформ-

лять одноразовый пропуск на посещение жены. Эти колебания от либерализма к ожесточению режима и обратно продолжались и в последующие годы.

В общем, мои первые впечатления от университета были связаны с общежитием. С некоторыми своими однокурсниками я познакомился еще в процессе поселения. Это была достаточно длинная бюрократическая процедура. Направление в общежитие мы получали на факультете, потом переходили из одной зоны в другую при получении или сдаче разных справок для оформления пропуска, спускались в цокольный этаж зоны Б, где в паспортном столе сдавали документы на оформление временной прописки, и наконец в своей зоне В получали ключ от своей комнаты. А в геометрии симметричного главного здания и расположении многочисленных лифтовых холлов мы тогда еще путались. Помню, что где-то у лифтов я тогда познакомился с симпатичной девочкой Риммой, с которой мы оказались в одной группе. Кого-то я помнил еще по собеседованию при поступлении. В частности, в одной группе со мной оказался тот мальчик с высоким голосом, который всех консультировал и рассказывал очень умные вещи перед дверьми, где проходило собеседование. Это был Женя Голод.

Я плохо помню организационное собрание первого курса, которое прошло, видимо, 31 августа в одной из лекционных аудиторий на 16 этаже. Помню, что там выступил тогдашний декан мехмата механик Работнов, кто-то еще из профессоров, секретарь комсомольского бюро мехмата Карманов. Нам что-то рассказали о предстоящих занятиях и объявили распределение по группам.

Официальное открытие новых зданий состоялось 1 сентября на площади перед главным входом в МГУ. На многотысячный митинг пришли не только студенты естественных факультетов, но и гуманитарии, которые пока оставались в старых зданиях в центре Москвы. Вся площадь от ступенек главного входа до фонтанов была заполнена народом. Мы прошли на площадь от своей зоны В по улице. Стояли мы не очень далеко от трибуны, в которую была превращена верхняя площадка лестницы, ведущей к главному входу, и можно было разглядеть лица выступающих. Я тогда в первый раз увидел ректора МГУ Петровского. Выступил также президент Академии наук СССР Несмеянов, который до Петровского был ректором МГУ, и именно в период его ректорства началось строительство новых зданий на Ленинских горах. От имени правительства и ЦК выступил министр культуры Пономаренко (тогда на короткое время после смерти Сталина все вузы находились в ведении министерства культуры) и объявил новые здания открытыми. После митинга мы вошли в университет, теперь уже через главный вход.

Первую лекцию нам прочитал профессор Курош. Лекция состоялась на первом этаже в большой аудитории 02. По-моему, там собрался весь наш первый курс. Вообще-то наш курс был поделен на 2 потока и на 15 групп, причем пока без разделения на математиков и механиков, которое произошло только со второго курса. Всего на курсе было почти 400 студентов. На каждом потоке были свои лекторы, и все последующие лекции уже проходили в поточных аудиториях мехмата на 16 этаже. Курош был лектором по высшей алгебре как раз на нашем втором потоке. Это был образцовый лектор, обладающий прекрасной дикцией. Он четко и даже с некоторым педантизмом обосновывал каждое высказанное утверждение, делая нажим своим громким голосом на ключевые слова и подчеркивая важность сказанного назидательным указательным жестом своей руки с мелом и рассечением воздуха своей мощной лысой головой. Никаких шуточек или отвлечений в сторону, чтобы позабавить аудиторию, он не допускал. На первой лекции речь шла, кажется, о решении систем линейных уравнений. Это было немного связано с тем, о чем я читал, готовясь в школе к докладу об определителях. Но, как и тогда, мне эта тема показалась не очень интересной. Мне не хватало геометрических образов. Вообще, я лучше почувствовал алгебру позднее лишь тогда, когда понял, что и там о многих вещах можно говорить на языке геометрии.

После лекции у нас начались семинарские занятия по группам. Я был в 14-й группе. Большинство в нашей группе составляли немосквичи, жившие в общежитии, но кроме Риммы Пав-

ловой и Жени Голода, о которых я упоминал, я еще никого не знал. Помимо алгебры на первом курсе у нас были занятия по математическому анализу и аналитической геометрии. Геометрию нам читал Борис Николаевич Делоне. Это была полная противоположность Курошу. Он постоянно отвлекался на какие-то веселые истории. Был он альпинистом, и помню, что на одной из первых лекций он рассказывал, как кто-то из его знакомых взбирался на шпиль университета по его внешней стенке. Лектором по матанализу был Крейнс. Кроме математических курсов у нас в расписании были лекции по астрономии, которые читал Воронцов-Вельяминов, известный мне по школьному учебнику для 10 класса. Кстати, в то время отделение астрономии входило в наш факультет и у нас на курсе была очень дружная группа астрономов. Позднее астрономы от нас отделились, перейдя на физический факультет. Начались у нас занятия и по марксизму-ленинизму, т. е. фактически по истории КПСС, по военной подготовке, по физкультуре и, наконец, по английскому языку. Нам всем порекомендовали заняться английским, независимо от того, какой язык был в школе. Так что мне пришлось попасть в группу начинающих. Немецким я позднее попробовал продолжить заниматься на факультативных занятиях, позанимался год, но потом бросил. Так что немецкий у меня так и остался на уровне школьных воспоминаний о строгой грамматике.

В один из первых дней занятий меня вызвали в факультетское бюро ВЛКСМ и назначили исполняющим обязанности комсорга нашего потока. Ясно, что меня нашли по анкете. Видимо, был со мной и какой-то предварительный разговор. Я, конечно, был готов к этому, планировал и даже хотел заниматься комсомольской работой. Но то, что на меня вскоре обрушилось, было мне непривычно. Если в школе я был сам себе хозяином, сам себе выдумывал дела, то тут я без конца получал поручения от членов факультетского бюро. При этом дела были в основном организационные, рутинные. Вначале мне надо было подобрать комсоров групп, пока лишь временных, назначаемых. Имелось в виду, что они подготовят собрания групп, на которых уже состоятся нормальные выборы комсоров. Также мне надо было готовить потоковое собрание и подбирать кандидатов в потоковое комсомольское бюро. Эти кадровые дела были еще более-менее интересные, я в результате познакомился со многими людьми с нашего потока. Но кроме этого мне надо было отвечать за то, чтобы все комсомольцы вовремя встали на учет, самому собирать членские взносы, чего я в школе никогда не делал, составлять всякие списки, отвечать за подбор профоргов, группоргов ДОСААФ и прочих организаций. Часто мне приходилось продолжать заниматься этими делами в общежитии, уже после занятий. В результате на занятия математикой – а уже пошли домашние задания – у меня оставалось время лишь поздно вечером и ночью.

Несмотря на эту загруженность, я не забывал о своих грандиозных планах покорения мира. И там у меня, наряду с учебой и комсомольскими делами, на одном из первых мест стоял театр. В новом Дворце культуры на Ленинских горах только начинали создаваться коллективы художественной самодеятельности. Но в университете был еще Дом культуры при старых зданиях в центре. Он стал теперь называться Домом культуры гуманитарных факультетов. А располагался он в помещении бывшей (и нынешней) церкви святой Татьяны, на углу Моховой и Большой Никитской (тогда это была улица Герцена). Я узнал, что там объявлен дополнительный набор в театральный коллектив. Это был еще не тот известный студенческий театр, из которого вышли Ия Савина и Алла Демидова, но тоже вполне добротная театральная студия. Для поступления надо было пройти прослушивание в два или три тура. По ходу дела нас даже заставляли что-то пропеть. Возможно, это было уже после приема, на одном из первых занятий студии. Петя я категорически отказывался, говорил, что у меня совсем нет слуха. Но сидевший за роялем режиссер каким-то образом меня уговорил, и я что-то напел под его аккомпанемент, после чего он сказал, к моему удивлению, что все нормально, зря я смущался. Фамилия этого режиссера была Штейн. По-видимому, это был Сергей Штейн из театра Ленинского Комсомола. Я так думаю, потому что основным руководителем студии был тогда

Катин-Ярцев, а про него я нашел в интернете, что он ученик Сергея Штейна. Они оба, видимо, ненадолго задержались в этой студии, потому что ни у того ни у другого в биографиях, которые я нашел в интернете, о работе в университетской студии не упоминается. Из всех вновь принятых образовали молодежную студию, и у нас начались занятия по актерскому мастерству. Катин-Ярцев был тогда преподавателем в Щукинском училище. Часть занятий проводил он сам, рассказывал что-то интересное, но чаще с нами занимались его студенты, в частности Панич, будущий актер и режиссер, эмигрировавший в 70-е годы на Запад и ставший знаменитым диктором радиостанции «Свобода», прочитавшим на этой станции весь «Архипелаг ГУЛАГ», книги Войновича и другие запрещенные в СССР книги. Занятия включали в себя разные, видимо, типичные для театральных училищ игры и упражнения на внимание, на быстроту реакции, на память. Помню, что надо было вовремя хлопнуть в ладоши, не прозевав своей очереди, произнести какие-то слова по ассоциации с чем-то. Мне это все казалось скучноватым и ненужным. Немного интереснее было делать этюды на заданные темы. Занятия проходили раза два в неделю и занимали весь вечер. Я исправно туда ездил, надеясь, что дело дойдет до работы над каким-нибудь спектаклем. Было, правда, несколько репетиций массовых сцен к спектаклю «Машенька» Афиногенова, куда нас ввели, но до участия в спектакле дело не дошло.

Кроме всех этих дел, мне, конечно, хотелось познакомиться с московскими театрами и вообще побольше узнать о событиях культурной жизни Москвы. Я побывал во МХАТе, в Большом театре посмотрел балет «Медный всадник». Но тогда поездка с Ленинских гор в центр отнимала массу времени, к тому же почти все вечера у меня были заняты. К счастью, в это время университет был в центре общественного внимания, и все деятели культуры считали за честь появиться в новых зданиях на Ленинских горах. Там выступали солисты Большого театра Лемешев, Козловский, Огневцев, приезжали Марецкая с Пляттом, Тарасова из МХАТа, знаменитая эстрадная пара Миронова и Менакер. Замечательные концерты проходили и в Актовом зале и во Дворце культуры. Я старался всюду поспеть, но не всегда получалось. У меня был абонемент на цикл концертов, организованных филармонией в Актовом зале. Помню, что однажды после занятий в театральной студии на Моховой я торопился на концерт Рихтера по этому абонементу. Я ехал с опозданием, к тому же автобуса долго не было, и в результате, когда я буквально вбежал в Актовый зал, оказалось, что концерт заканчивается, и Рихтера уже вызывают на бис. Я все же прошел по проходу и нашел место где-то поближе к сцене. Так я в первый раз увидел и услышал Рихтера.

Вместе с занятиями все эти события занимали все время и днем и даже ночью. У меня даже не оставалось времени завести новый дневник после школьного. В результате первые три месяца учебы в университете, которые были самыми богатыми на новые впечатления, я, к сожалению, ничего не записывал. Первая запись в новой тетрадке дневника была сделана 29 ноября. Вот отрывок из нее: *«Времени свободного совсем нет. Все основные события за последние месяцы вспомню и запишу как-нибудь потом (так и не записал), а сейчас запишу хотя бы за последнюю неделю. В прошлое воскресенье много сделать не успел. Вечером конспектировали с Дитером „Две тактики“. Выбежали к окну на лестнице посмотреть салют – был день артиллерии. В понедельник после занятий, наконец, съездил в старое здание и получил стипендию. Приехал ненадолго домой. Немного начал заниматься с Дитером алгеброй. К восьми поехал в клуб на репетицию „Машеньки“. Вернулся в полдвенадцатого. Решали с Дитером задачки по алгебре, потом конспектировали. Сидели до 3 ночи, но уже начали клевать носом. Решили лечь, завели будильник на 7 утра. А он, подлец, не сработал. Дитер проснулся в 9, разбудил меня. Немного позанимались и побежали на факультет. Еле успели на алгебру. На семинаре по марксизму мне пришлось отвечать про III съезд партии. После семинара разговаривал с Левенштейном. У него в среду отчет на бюро о работе в общежитии»*. Далее записано об этом заседании бюро и о разных других текущих комсомольских

делах, об интересной встрече с шотландской студенческой делегацией, а в конце этой записи: *«Вчера смотрел свой школьный дневник. Интересно, что тогда у меня были цели на несколько лет вперед, а сейчас как-то не думаю о далеком. Просто мало времени, да и учиться и работать труднее. Сейчас главное – выпутаться из математики и комсомольской работы. Еще в шахматный турнир на 1-ю категорию влез. Надо выигрывать, а я уже две партии проиграл. Одну, правда, выиграл. В пятницу с утра физкультура, потом спецподготовка. В 7 вечера партбюро с отчетом секретаря первого потока. Еще вечером около двенадцати в общежитии к Шабунину успел забежать, поговорили о составлении плана работы. В пятницу даже не успел сделать заявку в бюро пропусков для мамы. Она в субботу приезжала с бабушкой, привезла мне „Времена года“ Пановой. Буду читать. У мамы в школе все хорошо. Ну, ладно. Целый час писал. Бегу в столовую».*

Тут упоминается пропуск для мамы. В это время мама с бабушкой уже перебрались из Волосова и все уже жили в комнате в Братцево, которую получил папа. Это была комната в небольшом кирпичном доме, в котором жили учителя. Рядом стояла полуразрушенная церковь, в которой находился какой-то склад. Как я узнал позже, в нашем доме раньше располагалась приходская школа при церкви (эта церковь – ныне восстановленный храм Покрова). Папа уже с конца августа работал в семилетней школе в соседней деревне Митино. И Братцево, и Митино тогда относились к Красногорскому району Московской области. А совсем рядом начиналось Тушино и здания Тушинской трикотажной (а точнее, чулочной) фабрики. В поселке при фабрике была средняя школа, сейчас школа 821 Москвы, в которой, в конце концов, маме удалось устроиться на работу. Так что замечание в конце моей записи о том, что у мамы в школе все хорошо, относится к этой ее новой работе. Дорога в Братцево от университета занимала тогда довольно много времени, от двух до трех часов в одну сторону. Сначала я ехал автобусом до Киевского вокзала, потом на метро до станции Сокол, наконец, от Сокола на автобусе 88 по Волоколамскому шоссе до Трикотажной фабрики, откуда пешком еще километра полтора до Братцева. На частые поездки домой у меня не хватало времени. Поэтому мама, экономя мое время, часто приезжала ко мне в университет. Иногда я заказывал пропуск и она проходила ко мне в общежитие, но чаще у нас свидания были около клубного входа, она подъезжала, и мы гуляли с ней где-нибудь поблизости. Нередко я приглашал маму на какие-нибудь концерты в университете.

Также в моих записях упомянуты занятия с Дитером<sup>1</sup>. Это был немец Дитер Шеллер, пришедший к нам в группу чуть позже начала учебного года. Он был сыном немецкого инженера, вывезенного вместе с другими специалистами из Германии сразу после войны в порядке репараций. Он работал и жил с семьей где-то не очень далеко от Москвы. Дитер неплохо говорил по-русски, но выглядел немного наивным и совсем беспомощным в советских реалиях. Школу он окончил в СССР, но к занятиям на мехмате он был не очень-то готов. Я сразу взял его под свое покровительство. Мне казалось естественным, что это моя обязанность, так сказать, интернациональный долг, помочь ему, а заодно и заняться его воспитанием. Но занятия с ним были и мне полезны. Чтобы ему что-то объяснить, мне самому приходилось находить время, чтобы более или менее регулярно вникать и разбираться в материале, который мы изучали.

Потом к нашей компании присоединился москвич Боря Панеях, который тогда учился на заочном отделении, но ему разрешили посещать занятия в нашей группе. Ему тоже надо

---

<sup>1</sup> Когда я писал эти строчки, я подумал, не найду ли я в интернете какие-нибудь сведения о Дитере. И оказалось, что в Германии в 2016 году вышла его автобиографическая книга «Abenteuer Podberesje» о его детстве в СССР и о судьбе его отца. Я узнал, что в конце 1946 года его отец, работавший тогда на авиастроительной фирме «Юнкерс» в Дессау, вместе с другими специалистами в области авиационной промышленности и ракетостроения был доставлен в СССР. Немцев-самолетостроителей (всего с семьями около 600 человек) собрали в поселке Подберезье, находящемся на территории нынешней Дубны, где был образован авиационный центр и конструкторские бюро. Дитеру тогда было 10 лет. В книге Дитер рассказывает об учебе на первом курсе мехмата и даже упоминает о наших с ним совместных занятиях.

было догонять упущенное, и мне приходилось ему что-то объяснять. Но я чувствовал, что сам я не с той же легкостью впитываю новый материал, как было в школе, что, оказывается, математика – не такой уж легкий предмет, которым можно заниматься между делом, как мне казалось в школе, и что есть среди моих однокурсников кто-то, кто разбирается в том, что мы изучаем, лучше меня. Для меня ориентиром в нашей группе стал тогда Женя Голод, который, как мне казалось, уже знал все на свете, и я ставил себе задачу достичь его уровня. Я помню, что мне очень польстило то, что однажды на занятиях по математическому анализу наш преподаватель Алексей Федорович Филиппов выделил троих из группы, включая меня и Женю, и в качестве поощрения разрешил нам уйти с занятий, чтобы получить стипендию, не дожидаясь перерыва, поскольку в перерыв у кассы образовывалась большая очередь.

В это время по анализу мы изучали действия над графиками функций, и тут, действительно, я вырвался вперед. Задачи на построение сложных графиков я щелкал с большой легкостью после того как понял, что график надо строить, отмечая значение функции в данной точке не где-то в стороне на оси ординат, как учат в школе, а прямо на перпендикуляре, восстановленном к оси абсцисс в этой точке. Это, кстати, важное методическое соображение, которое я потом часто подчеркивал, когда мне приходилось читать лекции учителям. В этом случае график воспринимается не как кривая на плоскости, для которой обе координаты равноправны, что, помнится, меня сбивало в школе, а как геометрическое изображение однозначного соответствия, в котором четко выделена область определения. Об этом хорошо сказано в какой-то популярной книжке, возможно, Хинчина, где процесс построения графика предлагается воображать себе в виде квалифицированного клопа, который ползет слева направо по оси абсцисс и выпускает из своей спины перпендикуляр, равный по высоте значению функции в той точке, в которой в данный момент находится клоп. Конец этого перпендикуляра и чертит график. Этого маленького скачка в понимании геометрического смысла функции оказалось достаточно, чтобы и дальше все с усвоением анализа у меня пошло легко. И построение хитрых функций стало с тех пор моим любимым делом вплоть до моих научных занятий.

Семинары по аналитической геометрии у нас вел Мищенко Евгений Фролович, будущий академик, а тогда только что окончивший аспирантуру ассистент. Аналитическая геометрия, как известно, предназначена для решения геометрических задач аналитическими методами. Мне это не нравилось, мне бы хотелось, чтобы было наоборот. На одном из занятий Мищенко дал нам задачу, которая должна была продемонстрировать силу аналитических методов. Он сказал, что вот вы не смогли бы решить эту задачу с помощью обычной геометрии, а методами аналитической геометрии она решается легко. Я воспринял это как вызов и, отключившись от всего, что дальше происходило на этом занятии, стал упрямо решать задачу методами моей любимой школьной геометрии. В конце концов мне удалось ее решить, и я сказал об этом Мищенко. Он усомнился, попросил показать решение на доске. Выслушав, он согласился, что все правильно, но сказал, что все равно это ничего не доказывает – решение методами аналитической геометрии несравнимо легче. Он был, конечно, прав. Но у меня этот эпизод был просто еще одним проявлением того, что мне в математике ближе геометрический, а не алгебраический стиль мышления.

Об удивительной атмосфере мехмата тех лет много написано. Это время (пятидесятые – шестидесятые годы 20-го века) справедливо называют золотыми годами московской математики. Одной из уникальных черт этой атмосферы было желание вовлечь студентов с самого первого курса в живую, непосредственно в тот момент творящуюся науку. Это делалось не столько на обязательных занятиях, сколько на многочисленных спецсеминарах, просеминарах, кружках и спецкурсах. В большинстве своем семинары носили характер неформального дружеского общения и дополнялись бесконечными разговорами в коридорах мехмата. Этих семинаров было несколько десятков, думаю, что вместе с научными семинарами кафедр их было больше сотни. Никто из преподавателей не думал, входит ли время, потраченное на семи-

нары, в учебную нагрузку. И самое главное – это был двусторонний процесс: было искреннее желание старшего поколения поделиться своими научными интересами, проблемами, которыми они занимались, и было много молодежи, готовой воспользоваться этой творческой атмосферой мехмата, жаждущей и подготовленной воспринять эту информацию и включиться в научную жизнь. Думаю, что наш курс и следующий за нами набор 1954 года были одними из самых сильных курсов за всю историю мехмата. Я позднее буду упоминать имена многих моих однокурсников, ставших замечательными математиками.

В первые же дни занятий я увидел под расписанием наших занятий и на всех досках объявлений массу листочков с объявлениями, написанными от руки или напечатанными на машинке, в которых нас приглашали на просеминары, организованные специально для первокурсников. Я походил на первые занятия некоторых из этих семинаров, но мне все время приходилось пропускать очередное занятие то из-за какого-нибудь комсомольского или партийного заседания, то из-за занятий театрального коллектива. К тому же я не был еще готов к тому, чтобы сразу воспользоваться всем богатством, которое предоставлял мехмат. Более регулярно я стал ходить на различные спецкурсы и семинары лишь со второго курса. Конечно, если бы я был уверен тогда, что главное мое жизненное призвание – занятие математикой, я бы решительнее отбрасывал лишнее, отнимавшее столько времени. Но я не был в этом уверен. И хотя позднее я с досадой вспоминал то время, которое я на первом курсе потратил в театральной студии на всякие упражнения с прихлопами и притопами, на комсомольские поручения, от которых стоило решительнее отказываться, я все равно, даже став профессиональным математиком, продолжал регулярно на что-то отвлекаться. Вот и сейчас, когда я это пишу, я понимаю, что есть много вещей на свете, прежде всего в гуманитарной и общественной сфере, которые меня интересуют больше, чем математика. И в то же время иногда, прочитав о какой-нибудь красивой современной математической теории, основы которой закладывались на семинарах времен моих студенческих лет людьми, которых я знал, я жалею, что прозевал возможность уже тогда почувствовать эту красоту и что теперь у меня уже не будет времени догнать современный уровень исследований в этой теории. В общем, как у Роберта Фроста в словах из «Неизбранной дороги», которые напомнил недавно Дмитрий Быков в своей радиопередаче и смысл которых в том, что если ты стоишь на развилке, то по какой бы дороге ты ни пошел, ты потом будешь жалеть о той второй, избранной дороге.

Между тем основное время у меня продолжали занимать все же комсомольские дела. В начале октября у нас на потоке прошли выборы комсомольского бюро, и я стал уже не назначенным, а избранным секретарем бюро потока, на котором у нас было около двухсот комсомольцев. Потом прошли факультетская и университетская конференции. С новым секретарем факультетского бюро аспирантом Мишей Шабуниним у меня сложились не очень ровные отношения. У него был импульсивный характер, и ему часто мерещилось, что я с недостаточным рвением выполняю его поручения. А они касались в основном того, чтобы подобрать людей для выполнения каких-то дел, кого-то куда-то направить, обеспечить, чтобы пришли, проверить явку. При этом не только секретарь, но и другие члены факультетского бюро предпочитали спускать свои поручения через меня, а уже я должен был их перепоручать кому-то из членов моего бюро, оставаясь за все ответственным. В октябре и начале ноября основным делом стало обеспечение явки студентов на регулярные тренировки к параду физкультурников, с которого должна была начаться демонстрация после военного парада на Красной площади в годовщину Октябрьской революции 7 ноября. Весь наш первый курс был мобилизован для участия в физкультурном параде. В это время еще сохранялись порядки сталинских времен, когда участие в ежегодных первомайских и ноябрьских демонстрациях было строго обязательным и за неявку можно было получить взыскание. Тренировались мы на набережной в Парке культуры. Ничего сложного наша колонна не должна была делать, изображая физкультурников. Нам предстояло просто пройти по Красной площади ровными рядами в ногу, возможно, делая какие-то дви-

жения руками. Нам выдали цветастые свитера из какой-то синтетики, в которых мы маршировали. 7 ноября погода стояла довольно прохладная, и я под этот свитер надел для утепления еще разные кофты. Так что вид у меня, да и у многих из нас, был далеко не спортивный. Но промаршировали мы довольно успешно. Правда, наша колонна прошла далеко от мавзолея, и я не разглядел стоявших там вождей. Это была моя первая демонстрация в Москве, до этого я все это видел только в кинохронике. Поэтому для меня увидеть наяву мавзолеей со стоящими на нем руководителями было тем же самым, что вдруг получить возможность увидеть живого Наполеона. Тем более что я совсем недавно, после смерти Сталина, развешивал в школе портреты наших новых вождей, и у меня сохранялся пристальный интерес к каждому шагу, к каждому высказыванию нового руководства. По-прежнему сохранялось впечатление, что главным там наверху является Маленков. Правда, к этому времени уже прошел сентябрьский пленум ЦК КПСС и на нем Хрущев был избран первым секретарем ЦК, но как-то это не воспринималось так, что он тем самым вышел на первые роли. Как бы там ни было, но меня не удовлетворил проход по Красной площади вдаль от мавзолея, и я решил попробовать еще раз пройти в рядах демонстрантов мимо мавзолея. Когда мы спустились к реке по Васильевскому спуску, я откололся от нашей компании и пошел по набережной вдоль стен Кремля в сторону Библиотеки Ленина. Демонстрации тогда длились чуть не целый день, часов до пяти, и я успел пристроиться к какой-то колонне, которая медленно продвигалась вдоль Александровского сада в сторону Красной площади. На демонстрации тогда ходили целыми предприятиями или институтами. Так что шли в кругу знакомых людей, и на меня, тем более в цветастом свитере, поглядывали с подозрением. Но я делал вид, что я отстал от своих, кого-то ищу, и пробирался вперед вдоль колонны. Тем более что в этот момент колонна еще не была как следует построена. Лишь при подходе к Красной площади колонны вливалась в предназначенные им коридоры, образованные стоящими вдоль всей площади охранниками в штатском. Всего было примерно 8 таких коридоров. И тут уже надо было построиться в шеренги, кажется, по 6 или 8 человек. При этом еще кем-то через репродуктор регулировалась скорость движения. Временами приходилось сделать пробежку, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся где-то впереди. На этот раз я прошел достаточно близко к мавзолею, разглядел Маленкова, Кагановича, Булганина, Хрущева. Кажется, не увидел Молотова, видимо, он отошел на время от края трибуны.

Приближалась зимняя экзаменационная сессия. Во второй половине декабря пришлось сдавать много зачетов. Особенно много времени заняла подготовка к зачету по марксизму, к которому надо было законспектировать несколько работ Ленина. Тут я опять помогал Дитеру. Загруженность комсомольскими делами немного спала, на занятия театрального коллектива я перестал ходить, так что появилась возможность заняться в основном математикой. Правда, умение отвлекаться на совсем посторонние дела и тут меня не покидало. В дневнике записано, что в дни экзаменов я ходил в клуб на занятия в школу бальных танцев, в которую несколько раньше записался. Не помню, где я встретил свой первый московский Новый год. Вообще-то, я всегда старался в самый момент наступления Нового года быть дома. Но, возможно, я все же остался на грандиозный новогодний бал в университете. Во всяком случае, если не в этот год, то в другие года я на этих балах бывал. Всегда в новогодние вечера и в Актовом зале и во Дворце культуры шло по несколько концертов, и надо было бегать между залами, если хотелось не прозевать выступление какого-нибудь известного артиста. В больших аудиториях на первом этаже крутили фильмы. Наконец, на всем первом этаже, который непрерывно переходит во второй этаж зон Б и В общежития, были танцы, причем на этих этажах общежития лифтовые холлы были открыты в сторону главного здания, не было достроенной позднее стенки и дверей с вахтерами при входе в общежитие, и танцевали также на просторных балконах над вестибюлями первых этажей этих зон. На лестнице, ведущей в фойе актового зала, играл оркестр, сопровождавший танцы, а в переходе в зоны и в общежитии танцевали под

записи. А кто-то еще танцевал в гостиных общежития. Так что одновременно в такие вечера танцевали буквально тысячи человек. Такие массовые танцы бывали и в другие праздники. В первый год они проходили чуть ли не каждую субботу. Помню, выходишь в такой день из лифта в общежитии на втором этаже и прямо в лифтовом холле оказываешься среди танцующих. И приходится пробираться, лавируя между слипшимися парами. Эти танцы в новом здании МГУ были известны всей Москве, и туда кроме студентов попадала и весьма сомнительная публика, тем более что пройти в университет в то время было несложно. Так что университетское начальство, прежде всего партком, вскоре спохватились и через пару лет режим в общежитии ужесточили. На партийных собраниях принимали резолюции о необходимости улучшить нравственное воспитание студентов, а комсомольские организации формировали бригады по борьбе со стилистами. Я в первые месяцы эти танцы обходил стороной.

Во время сессии часть дней я проводил дома в Братцеве, а ближе к экзамену перебрался в общежитие, и там мы занимались вместе с Дитером. Но он первый экзамен – это была алгебра – провалил. Правда, потом пересдал. Всего в эту сессию мы сдавали три экзамена. Кроме алгебры это были аналитическая геометрия и матанализ. Оба эти экзамена я сдавал лекторам – Делоне и Крейнсу. На экзамене у Крейнса мне понравилось и запомнилось, что когда я на вопрос о равномерной непрерывности какой-то функции стал проводить громоздкие вычисления, обосновывая ответ, он меня перебил и нетерпеливо спросил: «Есть у графика самое крутое место?» Я ответил, что есть, конечно, и показал, где, на что он: «Ну и все». То есть его вполне удовлетворяло геометрическое обоснование ответа, что мне и самому нравилось, но я не был уверен, что это его удовлетворит. Все три экзамена я сдал на пятерки. Но на нашем курсе таких отличников было много, и я понимал, что я все же далек от уровня, на котором были готовы воспринять математику некоторые из моих однокурсников, прошедшие через школьные математические кружки, олимпиады и уже с первого курса разбиравшиеся в том, какие из спецкурсов и семинаров их интересуют и чем они хотят заниматься. Я пытался лучше спланировать свое время, чтобы больше времени оставалось на математику, составлял для себя распорядок дня, планы на каникулы, но принять решение, что занятие математикой является для меня единственной и главной жизненной целью, я был не готов.

Во время студенческих каникул позаниматься, как планировал, не пришлось. Навалились всякие комсомольские дела. Надо было сформировать бригаду для поездки в колхоз на какие-то работы. На счастье, эту поездку вскоре отменили. Затем начались дела, связанные с назначенными на март выборами в Верховный Совет СССР. За университетом было закреплено несколько избирательных участков в районе Раменок, где еще со времени строительства нового здания МГУ жили строители. Находился там и клуб строителей. И мне сразу же было поручено организовать дежурство на одном из агитпунктов и сформировать бригаду агитаторов. Главной задачей агитаторов было обеспечить полную явку избирателей на участок в день голосования. Агитаторы составляли и проверяли списки избирателей, обходя квартиры и общежития, разносили разную информацию. Кандидат в депутаты был всегда один на округ, а округов было два, один – по выборам в Совет Союза, другой – в Совет Национальностей. Так что дело было не в том, чтобы агитировать за кандидата, а чтобы выявить тех, кто может сорвать стопроцентное голосование. На уехавших надо было достать справку, подтверждающую, что они действительно уехали, больных надо было включить в список голосующих на дому. Некоторые жильцы пользовались выборами, чтобы заставить начальство решить какие-то их бытовые проблемы. Например, объявляли, что не пойдут голосовать, если им не сделают давно обещанный ремонт квартиры. Иногда, если это были какие-нибудь беспартийные принципиальные пенсионеры или отважные пьяницы, на которых трудно было воздействовать иным способом, такой шантаж срабатывал и их требование исполняли, или, по крайней мере, они получали твердые гарантии какого-нибудь авторитетного лица, что их вопрос будет решен. В обязанности агитаторов входило еще проведение всякой воспитательной, про-

светительной и культурной работы среди избирателей. В основном это сводилось к организации в агитпункте лекций по международному положению, по внутренней политике и концертов самодеятельности. Один такой концерт мы организовывали в раменском клубе строителей вместе с нашими четверокурсниками.

Из событий во время каникул самое яркое впечатление оставил семинар комсомольского актива университета, прошедший в университетском доме отдыха в Красновидове, недалеко от Можайска. Семинар длился 4 дня. Было нас около 70 человек. Среди них было много ярких интересных людей, и вся атмосфера семинара мне очень нравилась. Для меня было важно, что эти веселые, умные и талантливые люди в то же время близки мне идейно. Заводилилами были биологи, и среди них выделялась брызжущая энергией и юмором Ляля Розанова. В то время биологи были, пожалуй, лидерами университетской самодеятельности. В те годы на биофаке учились Шангин-Березовский, один из основателей бардовского движения, и Дмитрий Сахаров, ставший поэтом Дмитрием Сухаревым. Основной доклад на семинаре делал секретарь бюро филологического факультета Игорь Виноградов, будущий литературный критик и один из идеологов «Нового мира» времен Твардовского. Все это будущие шестидесятники, которые тогда еще не были шестидесятниками. Не были не потому, что шестидесятые еще не наступили, а потому что не было еще ощущения, что наступает в чем-то новая эпоха, не было переоценки ценностей, не было характерного для шестидесятников призыва отказаться от сталинского наследия и «вернуться к ленинским нормам». Это были представители послевоенного поколения комсомольцев, искренне преданных коммунистическим идеалам, которых сталинская система не успела сломать. Она до них, до большинства из них, просто не добралась. Они считали, что с идеями и идеалами все в порядке, надо только добиться, чтобы все честно им следовало. В общем, я хочу сказать, что многие будущие острые критики сталинизма были воспитаны внутри системы с ее проповедью справедливости, непримиримости к недостаткам, верности идеалам. И когда возникло понимание, что эти идеалы были искажены, они были готовы бороться за их очищение. Впрочем, это уже мой взгляд из будущего на тот веселый семинар в Красновидове.

Тема семинара звучала так: «Как сделать комсомольскую работу живой и интересной». Когда в один из вечеров на семинар приехал секретарь горкома комсомола с каким-то скучноватым докладом по истории комсомола и после доклада спросил, какие есть вопросы, сначала все помолчали, а потом кто-то в шутку спросил: «А как сделать комсомольскую работу живой и интересной?» Поохотали, и потом вдруг возник очень горячий разговор. Заговорили о формализме, бюрократизме в комсомольской работе, о том, что мало романтики в комсомольской работе, о необходимости внести поправки в устав на предстоящем 12-м съезде ВЛКСМ. Говорили о неразборчивости при приеме в комсомол, о том, что стало слишком легко вступить в комсомол. Говорили про школу, и я радовался тому, что все разделяли мое давнее убеждение в необходимости отказаться от разделения школ на мужские и женские. Еще в школе я много раз писал об этом, включаясь в разные дискуссии в газетах. Кстати, вскоре, с осени 1954 года, совместное обучение в школах было восстановлено. На большинство вопросов докладчик не был в состоянии ответить. Он малость растерялся, не ожидая такого напора, но пообещал, что на следующий день постарается привезти на наш семинар кого-нибудь из ЦК ВЛКСМ. Кажется, в Красновидове из ЦК так никто и не приехал, но пообещали приехать позже в университет.

А вечером в этот день устроили концерт силами самих участников семинара. Наша группа математиков образовала объединенный хор с филологами. У нас солировал Виноградов и Галя Игошева, секретарь бюро 1-го потока нашего курса (мой-то поток был второй). Хороший хор получился у географов. Я тогда впервые услышал замечательный «Глобус», считавшийся гимном географов.

Я не знаю, где встретиться  
Нам придется с тобой.  
Глобус крутится-вертится,  
Словно шар голубой.

«Глобус» пели всем залом. Я тоже выступил, прочитал какую-то басню. Самым ярким и веселым номером был капустник биологов. Основной частью там была шарада. Задумано было слово заморг (так во всех комсомольских и партийных органах назывался заместитель секретаря по организационной работе, самая хлопотливая должность). Слово было разбито на части: за-морг. Первая сценка, изображавшая «за», представляла заседание комсомольской группы, обсуждавшей кандидатуру жениха для невесты. После обсуждения все подняли руки – «за». Затем сценка в морге. Лежат покрытые простыней мертвецы, на ногах, торчащих в сторону зрителей, бирки. На одной «романтика», на другой – «девочка, которую раздавил Корниенко» (это был секретарь бюро физиков, очень тучный добродушный мужчина, один из героев семинара, который накануне во время веселой вечерней прогулки по заснеженному берегу Москвы-реки, когда мы гурьбой скатывались вниз по крутому склону берега, действительно кого-то слегка придавил). Наконец, на третьей бирке значилось «комсомольская работа». В морг приходит делегация от комитета комсомола и просит отдать третий труп, чтобы отвезти его в Красновидово, где его предполагается оживить. А слово в целом изображалось сценкой, в которой измученный заморг инструктирует секретаря первого курса, какую работу следует провести, чтобы выполнить решение комитета ВЛКСМ университета о всеобщем развешивании любви. Затем собирается все бюро, и решение по этому вопросу запеваётся хором.

После семинара во время каникул я побывал еще на студенческом балу в Кремле, в Большом Кремлевском дворце. Кремль частично открылся для посещения лишь в следующем, 1955 году. Но первые новогодние елки и студенческие балы в Кремле прошли именно в начале 1954 года. Для меня это была возможность впервые увидеть Кремль изнутри, так что я пришел намного заранее, увидел царь-пушку и царь-колокол. Участникам бала предоставили также возможность побывать в оружейной палате, которая тогда тоже еще не являлась музеем, открытым для широкой публики. Сам бал проходил в Георгиевском и Владимирском залах. Выступали известные актеры. Я тут впервые увидел Козловского, и помню, что он мне чем-то не понравился. Возможно, сказалось влияние одного из моих соседей по общежитию, Владика Ушакова, который был страстным поклонником Лемешева, и рассказывал мне о жестокой борьбе двух непримиримых лагерей: поклонниц Лемешева и Козловского – «лемешисток» и «козловитянок». На балу было много гостей из союзных республик и из стран народной демократии – так тогда назывались восточно-европейские страны советского блока. Многие из них выступали со своими национальными номерами. У меня в дневнике записано, что я там познакомился и обменялся адресами с одним студентом-китайцем из Пекина.

Остаток каникул я провел дома в Братцеве. Мама меня пригласила на вечер встречи выпускников в свою школу в Тушино, и я там потосковал по своим школьным вечерам. На вечер встречи в Волосово я в том году не поехал.

До конца каникул мне так и не удалось позаниматься математикой. А с началом семестра возобновились комсомольские дела. Я все пытался их как-то совместить с занятиями, составил себе распределение времени на неделю. Посчитал, что в неделе 168 часов, из них на лекции и другие обязательные занятия приходится 38 часов, на сон предназначил 56 часов (пометил: «в идеальном случае»), на питание и прочие нужды – 14. Далее выделил время для домашних занятий по каждому предмету, включая три математики, механику, марксизм, английский язык, спецподготовку, т. е. военное дело. С комсомольской работой понадеялся управиться за 6 часов, и даже выделил 4 часа на шахматы. В результате у меня даже осталось 20 часов свободного времени, к которому я отнес занятия в театральной студии и даже написание «Нашей

жизни». Но уже в день составления этого плана я записал, что в этот день использовал все недельные 6 часов на комсомольские дела, потому что был на заседании факультетского партийного бюро, на котором обсуждали доклад декана Работнова об итогах первого семестра, а потом – на заседании культкомиссии нашего потока, где наметили провести несколько вечеров.

Но комсомольская работа мне не приносила того удовлетворения и той зарядки энергией, какую она давала в школе. Все сводилось к выполнению массы поручений, спущенных сверху. На инициативу не оставалось времени, да и как-то она иссякла. Я чувствовал, что то, чем мне хотелось заниматься в школе, что я считал главным, здесь неуместно. Воспитывать, а тем более просвещать здесь было некого. Хотя проваливших сессию было довольно много, но в основном это были довольно взрослые ребята, некоторые после армии, принятые вне конкурса. Они упорно занимались, но программа мехмата была им не под силу. Им пытались помогать, но большого успеха это не приносило. В нашей группе был такой Костя Абрамов, прекрасный парень из моряков, член партии. Он рассказывал, что в морском училище всегда был отличником, и удивлялся тому, что никак не может одолеть все те задания, которые на него сваливались здесь на мехмате. Наши преподаватели ему симпатизировали, пытались уговорить его перейти на другой факультет. Но он упорно не хотел сдаваться. Только в конце года после второй неудачной сессии он поддался уговорам, и его перевели на географический факультет, который он успешно закончил и даже, кажется, поступил там в аспирантуру. Еще один наш однокурсник, тоже из военных, перевелся на биологический факультет и стал там отличником. Была у нас, правда, парочка абсолютных бездельников, принятых на мехмат по квоте для строителей университета. Но они, по-видимому, с самого начала понимали, что мехмат не для них, довольно быстро перестали ходить на занятия и вскоре были отчислены. В общем, если борьба за высокую успеваемость, считавшаяся основным делом школьного комсомола, и сохраняла актуальность в университете, то здесь у нее менялось содержание. Лодырей, которых надо было вразумлять и воспитывать, здесь практически не было. Здесь надо было как-то помочь тем, кто не был готов к уровню требований на мехмате. Но дело это было деликатное. Назначать каких-то официальных репетиторов тут было неуместно. Эффект достигался, когда помогали друзья. Но дружба не возникнет по поручению.

В начале второго семестра я отчитывался на факультетском комсомольском бюро о работе нашего бюро в первом семестре и об итогах зимней сессии на нашем потоке. Шабунин, секретарь бюро, высказывал много претензий. Потом я готовил потоковое собрание, писал доклад к нему, проект доклада обсуждали на нашем бюро вместе с Шабуниним. Ему что-то там не нравилось, я переписывал доклад, даже пропустил из-за этого какие-то занятия. Ему снова не нравилось, он требовал большей конкретности и критичности. Я злился, не очень хорошо понимал, что ему надо. В конце концов, собрание прошло. На нем избрали несколько новых членов бюро вместо тех, кого освободили по их просьбе из-за трудностей в учебе. Из-за этого же пришлось заменить и некоторых комсоргов групп. Когда наше бюро собралось в обновленном составе, я даже поставил вопрос о своей отставке, потому что я не чувствовал полной поддержки членов бюро в моих напряженных отношениях с Шабуниним. Мне было непривычно действовать в обстановке, когда я не был безоговорочным лидером. Тут многие были с претензией на лидерство. В моем бюро была одна девочка, которая за что-то меня невзлюбила и все время выражала неудовольствие тем, что и как мы делаем. Комсорг одной из групп, Володя Левенштейн, был недоволен тем, что у нас как-то скучно проходят заседания и собрания, и я чувствовал, что он прав. С Володей, кстати, позднее мы успешно вместе работали по организации факультетской художественной самодеятельности. Секретарем бюро меня, конечно, оставили, но работал я без энтузиазма, что, впрочем, не сокращало время, которое уходило на комсомольские дела.

14 марта были выборы в Верховный Совет СССР. Этот день воспринимался как большой праздник. Тем более что я голосовал в первый раз. Мой сосед по общежитию Рамиль решил, что мы должны пойти голосовать в 6 утра, как только откроется избирательный участок. Он заказал дежурной по этажу, чтобы она нас разбудила звонком со своего пульта. Кроме того, меня разбудил будильник. Рамиль в это время уже одевался. Мы спустились вниз, прошли по переходу в главное здание. На лестнице, ведущей в фойе Актового зала, где располагался наш пункт голосования, уже скопилась масса народу. В 6 часов по радио зазвучал гимн Советского Союза, председатель участковой избирательной комиссии поздравил собравшихся с началом голосования и пригласил в фойе. Началось голосование. Забегали фотокорреспонденты, чтобы запечатлеть первых проголосовавших на первых выборах в новом здании на Ленинских горах. У кого-то брали интервью. Мы с Рамилем проголосовали и прошли в буфет. Естественно, что никого не интересовало, за кого голосуем. Там было два бюллетеня. В одном из них единственный кандидат в Совет Союза, в другом – в Совет Национальностей. Эта церемония воспринималась просто как некий праздник, праздник единства советского народа. Потом я вернулся к себе домой досыпать, а Рамиль отправился на лыжные соревнования – он был одним из лучших лыжников университета и поэтому, несмотря на двойки на экзаменах, он еще целый год продержался на мехмате.

Я проспал до часу дня. Потом мне надо было проконтролировать, нормально ли проходит дежурство моих комсомольцев на избирательных участках. После этого я отправился в Москву посмотреть новые станции метро, открытые в этот день. Поехал на автобусе до Киевского вокзала и спустился к новой станции «Киевская кольцевая». В зале толпы народу ходили по кругу как в картинной галерее, рассматривая мозаичные панно на темы украинской истории. Этот был год, когда отмечалось 300-летие воссоединения Украины с Россией. Основные торжества состоялись позже, в мае. Но уже в феврале, по инициативе Хрущева, был издан указ о передаче Крыма Украине, чему в то время, конечно, никто не придавал никакого значения. А этим мозаичным панно предстояла нелегкая судьба. На многих из них был изображен Сталин и его соратники. И по мере борьбы с культом личности Сталина его фигура исчезала с некоторых панно, пока совсем не исчезла. Так что сейчас Киевская Кольцевая выглядит совсем не так, какой я ее увидел 14 марта 1954 года. На станции я встретил своих однокурсников. Поехали с ними смотреть другую открывшуюся станцию – «Краснопресненскую». Там, так же как на «Киевской», на столике лежала книга отзывов, к которой стояла очередь. Я тоже подошел. Один паренек записал: «Наше метро лучше заграничного!» Сидящая у столика дежурная засмеялась: «А ты видел?» «Знаю!» – сердито отозвался паренек. Я тоже счел своим долгом что-то записать. Потом мы с ребятами проехали по кольцу. Ведь оно только сейчас, с открытием новых станций, замкнулось. Вернулись в университет. Там продолжался праздник. Я сходил в кино, посмотрел старый фильм «Комсомольск». Купил «Вечерку» и порадовался, что там фотография нашего избирательного участка в фойе Актового зала. Вечером в дневнике, описывая впечатления этого дня, в заключение записал: *«Настроение выше приподнятого! Надо еще учить матанализ и марксизм. И потанцевать еще надо. Сейчас везде танцуют: и в клубе, и на втором этаже, и у нас в гостиной. Постараюсь уснуть».*

Записей в дневнике за весь первый курс очень мало. Часто повторяются слова «записывать решительно некогда». Три дня подряд начало записей обрывается с пояснением на следующий день: «Вчера не смог записать, стал клевать носом». По старой привычке на первом месте оставались комсомольские дела. Я проводил заседания бюро, собрания актива. Прошел хороший потоковый вечер с концертом. У нас обнаружили две девочки с очень хорошими голосами, которые позднее несколько раз побеждали на факультетских смотрах самодеятельности. А одна наша группа поставила отрывки из новой сатирической пьесы «Не называя фамилий», которая тогда шла во многих театрах, но потом была, кажется, снята с репертуара по указанию Фурцевой. Не успела закончиться избирательная кампания, как надо было

направлять народ на репетиции первомайского физкультурного парада. Репетиции проходили в течение почти всего апреля.

На первомайскую демонстрацию мы отправились вместе с Дитером. Там он от меня отделился и присоединился к группе немцев из МГУ, которые тоже шли в составе университетской колонны. На этот раз наша колонна прошла по Красной площади довольно близко к мавзолею, и у меня в дневнике записано, что я хорошо разглядел Маленкова, Ворошилова, Хрущева и Булганина. Погуляв по центру, мы вернулись на Ленинские горы. Там на площади перед главным зданием шел концерт. Я дождался вечернего салюта и отправился домой в Братцево. Вместе с первыми залпами салюта включились авиационные прожекторы, осветившие звезду на шпиле МГУ, а высоко в небе над Москвой прожекторы осветили большие портреты Ленина и Сталина. На следующий день мы всей семьей поехали в центр посмотреть вечернюю праздничную Москву. Как обычно в эти годы, наиболее ярко было разукрашено здание Центрального телеграфа на улице Горького. Там были выставлены виды будущей Москвы, в частности изображено, как будет выглядеть район вокруг университета. Ведь тогда здания МГУ на Ленинских горах образовывали островок среди пустырей, снесенных деревень и домов для строителей в районе Раменок, включая остатки одного из уже закрытых к тому времени лагерей для строителей из числа заключенных. Сохранилась только Троицкая церковь села Воробьево у самой балюстрады смотровой площадки. На ограде этой церкви когда-то шутники вывесили табличку с объявлением «Только для преподавательского состава».

В мае комсомольских дел стало немного меньше, и у меня появилась возможность чуть больше времени уделить занятиям и начавшимся зачетам. Занимались мы часто вместе с Дитером и с Борисом Панеяхом. В начале мая мы втроем попали на заключительную партию матча Ботвинник – Смыслов в Концертном зале им. Чайковского. Ботвинник отстаивал звание чемпиона мира по шахматам, и для сохранения звания ему в этой партии достаточно была ничья. Мы с трудом достали билеты. Когда зашли, Ботвинник ходил по сцене, Смыслов думал над очередным ходом. Посидев в зале, мы вышли в фойе, где гроссмейстер Бондаревский анализировали партию. В это время из зала слышались громкие аплодисменты. Все ринулись в зал. Оказалось, Ботвинник со Смысловым согласился на ничью. Тем самым матч закончился, и Ботвинник остался чемпионом. Долго гремела овация. Кричали ура Ботвиннику, Смыслову и даже судье матча.

Дитер уже знал, что его отца скоро отпустят в Германию, в ГДР, так что это были для Дитера последние месяцы в Москве. Он собирался продолжить учебу в Германии. Мы с ним много гуляли по Москве. В это время, в конце мая, она была украшена к празднованию 300-летия воссоединения Украины с Россией. Прошлись по центру, по Красной площади. Потом сели на водный трамвайчик, доехали до Ленинских гор. Хотели сойти на берег, но увидели стоящую на пристани компанию наших однокурсников. Они нам машут, чтобы мы не слезали. Мы остались и поехали с ними дальше в сторону Устьинского моста. Ехали очень весело, пели. Уже темнело, и рулевой развлекал нас, выхватывая сигнальным фонарем целующихся парочек, укрывшихся в Нескучном саду.

Прошли экзамены. У меня все прошло благополучно. Особенно я гордился пятеркой на экзамене по алгебре, который я сдавал часов шесть. На мехмате и тогда, и в какой-то степени до сих пор, распространен этот стиль приема устного экзамена, при котором экзаменатор, быстро прослушав ответы на вопросы билета, основное внимание уделяет дополнительным вопросам, в основном в виде задачек. При этом экзаменуется сразу несколько человек, и экзаменатор поочередно подходит к ним и смотрит, как они справляются с задачами, постепенно повышая или понижая планку, в зависимости от хода экзамена. Конечно, 6 часов – это уже специфика моего сравнительно молодого добросовестного экзаменатора Анатолия Илларионовича Ширшова, но устный экзамен в 2—3 часа – обычное дело на мехмате. Ширшов был учеником Куроша. Он только недавно окончил аспирантуру. Это был член партии, бывший

фронтовик, довольно симпатичный скромный человек. Мы с ним были знакомы по партийным делам. И эти 6 часов моего экзамена не были проявлением какого-то садизма с его стороны. Он мне скорее симпатизировал и поэтому давал мне время добить задачки, которые у меня не сразу получались. С одной задачкой я провозился около часа и помню, что я как-то себя взбадривал, внушал себе, что я не имею права сдаваться, обязан дожать задачку. И в конце концов решил ее не алгебраическим методом, а используя анализ. Мне свое решение очень нравилось, но, скорее всего, это был не тот метод, который имел в виду Ширшов. И он дал мне еще несколько задач.

После этого экзамена Дитер позвал меня на промышленную выставку ГДР в Парке Горького. При выставке был пивной павильон, где мы попили немецкого пива в компании с другими немцами, с которыми Дитер познакомился. Тут, кстати, меня вдруг узнал и подошел ко мне Владик Азаренков, бывший мамин волосовский ученик. Он рассказал мне, что был в этом году в Волосове на вечере встречи выпускников.

После окончания всех экзаменов мы попрощались с Дитером. Даже мои мама с папой, которые были с Дитером знакомы, приехали ко мне, и мы устроили в моей комнате прощальный ужин. Я подарил Дитеру на прощанье томик Маяковского. Он мне тоже что-то подарил и, кроме того, оставил мне несколько немецких книжек, среди которых была «История ВКП (б)» на немецком языке. Мы с ним около года переписывались, но потом переписка как-то заглохла. Я, грешным делом, подумал, что он перебрался в Западную Германию. Ведь тогда еще не было Берлинской стены. Но оказалось, что он всю жизнь прожил в Дрездене, там работал в университете. И когда мы с ним встретились в Германии через 63 года после расставания в Москве (я его нашел благодаря его книге, о которой уже упоминал), первое, что он мне показал в своем кабинете, был мой томик Маяковского.

После экзаменов я еще оставался в общежитии, потому что предстояла поездка бригады с нашего потока в подмосковный колхоз. Самым запомнившимся интересным событием этих дней было ночное катание на лодках по Москве-реке. Тогда такое разрешалось. Римма Павлова из нашей группы собрала небольшую компанию своих друзей на свой день рождения. Многие ее подруги считали или хотели считать, что мы с Риммой пара. Я уже писал, что мы с ней познакомились в первый день заселения в общежитие. Потом я сделал ее комсоргом нашей группы. Мы симпатизировали друг другу, у нас всегда были очень дружеские отношения. Но дальше этого дело не пошло. Римма была приветливая, но в то же время очень «правильная» девушка из провинции, и я, видимо, чувствовал, что тут следующий шаг к более близким отношениям может быть только всерьез. А к этому я почему-то не был готов. Подругой Риммы и ее соседкой по общежитию была миниатюрная Надя Оревова. При ней был нежно ее опекавший Володя Лин. Гости сначала собирались в Надиной комнате, где Володя ставил на проигрыватель пластинки с чем-то серьезным. Потом перешли в комнату Риммы. Всего нас было человек восемь. Ближе к полуночи отправились гулять к Москве-реке и решили взять лодки. Видимо, тогда лодочная станция была у самых Ленинских гор. Мы взяли три лодки и направились в сторону Крымского моста. Это был, пожалуй, мой первый опыт длительной гребли. Сначала моя лодка двигалась по синусоиде, но постепенно стало получаться, и даже иногда удавалось обгонять другие лодки. Катались всю ночь. Ближе к рассвету пристали под мостом к каким-то столбам, торчащим из воды, и решили ждать восхода солнца. В ожидании восхода немного потеоретизировали по поводу причины появления многочисленных пузырьков, поднимающихся из воды. Наконец, появилось солнце, красное, необычно большое. Дождались, пока весь диск не взойдет, и поплыли обратно. Вернулись домой около шести утра, но поспать толком не пришлось, так как на следующий день был какой-то воскресник около университета.

А 30 июня, в последний день перед поездкой в колхоз, в нашем Доме культуры на Ленинских горах с 11 утра началась встреча с писателями. Я должен был пойти на заседание факуль-

тетского бюро, поэтому я сначала зашел на эту встречу ненадолго. Встреча началась с доклада Алексея Суркова, тогдашнего первого секретаря Союза писателей СССР. Приехали также Константин Симонов, Борис Полевой и еще несколько человек. Я немного послушал Суркова, но мне надо было уходить на бюро. Потом я вернулся. Оказалось, что приезд писателей был связан с тем, что у нас на мехмате на третьем курсе прошло собрание, где студенты обсудили статью Померанцева «Об искренности в литературе», опубликованную недавно в «Новом мире». Было составлено и подписано большой группой студентов письмо в поддержку Померанцева, статья которого в это время подверглась критике в «Правде» и в других газетах. Одним из главных инициаторов обсуждения и написания письма был наш третьекурсник с отделения астрономии Кронид Любарский. Обсуждение на мехмате, кажется, прошло вслед за таким же обсуждением у филологов. Я обо всем этом, в том числе и о статье Померанцева, узнал только на этой встрече с писателями. Когда я вернулся с заседания бюро, шло обсуждение доклада Суркова и как раз выступал Любарский. Выступал горячо и немного сумбурно. Мне он совсем не понравился. В дневнике я обозвал его самовлюбленным нахалом. Его резкой критики в адрес советской литературы я тогда принять, конечно, не мог. А Сурков, который еще раз выступил в конце обсуждения, наоборот, понравился. Я записал, что он сказал много интересного об «Оттепели» Эренбурга, о «Временах года» Веры Пановой, о Зошченко. В общем, мне, воспитанному на пафосных статьях «Литературной газеты» тех лет, были в это время чужды и даже враждебны все попытки поставить под сомнение высокие воспитательные цели советской литературы и принципы социалистического реализма. И мне было обидно, когда я видел, что явно неглупые люди не понимают величия тех идеалов, воплощению которых в жизнь должна быть посвящена вся энергия советских людей, в том числе и писателей. Кронида Любарского я еще раз упомяну, когда буду писать о бурных событиях на мехмате в 1956 году, связанных с выпуском стенгазеты «Литературный бюллетень», но к тому времени он уже закончит факультет. Позднее он станет известным диссидентом, проведет пять лет в советских лагерях, потом окажется в вынужденной эмиграции, в девяностые годы вернется в Россию и будет даже участвовать в работе комиссии по выработке конституции 1993 года.

Саму статью Померанцева, которая позднее стала рассматриваться как первый росток послесталинской оттепели в литературе, я в то время, кажется, так и не прочитал и, вообще, не сразу заметил ту особую роль, которую в литературе стал играть журнал «Новый мир» Твардовского. Впрочем, Твардовского как раз в связи со статьей Померанцева и с другими «идейно порочными» публикациями решением ЦК КПСС летом 1954 года от руководства журналом отстранили, заменив Константином Симоновым. И золотые годы «Нового мира» начнутся позднее, с возвращения Твардовского в журнал в 1958 году. А «Оттепель» Эренбурга я вскоре прочитал во время поездки нашей студенческой бригады в колхоз. У меня в дневнике записано, что во время какого-то перерыва в работе я читал своей бригаде «Оттепель» вслух. Конечно, никто в то время не подозревал, что название этой повести даст имя целой эпохе в жизни Советского Союза. Мне эта повесть не очень понравилась. У себя в дневнике я записал: *«Не понравился Сабуров, выставленный как идеал. Это же „чистое“ искусство. Уже дома прочитал в „Литературке“ статью Симонова о повести. Согласен с ним»*. Ясно, что Симонов тогда оценивал повесть, стараясь выразить официальную точку зрения на задачи искусства, и именно поэтому я с ним был согласен. Но вообще-то и позднее многие критики, вполне свободные от идеологических шор, соглашались с тем, что повесть сама по себе, если отвлечься от символики, ничего выдающегося собой не представляет. Как сказал Дмитрий Быков, «от этой повести Эренбурга ничего, кроме названия, в литературе не осталось», хотя Быков и счел нужным в своем цикле лекций о ста книгах русской литературы 20-го века посвятить ей как феномену оттепельной литературы отдельную лекцию. Я в первые годы учебы в университете не так внимательно, как в школе, следил за современной советской литературой. В это время о многих новинках я узнавал от мамы, она мне привозила «Времена года»

Пановой и другие номера «Нового мира». По-видимому, она немного раньше меня оценила появление новых произведений с более живыми героями, которые были наделены правдивыми чувствами и сталкивались с подлинными жизненными проблемами.

## 2. Колхозное лето

О двух неделях работы в колхозе я постарался в своем дневнике записать очень подробно. Мне казалось, что это очень важный жизненный опыт, особенно для моего будущего писательства, на которое я продолжал надеяться. Поэтому я в своих записях останавливался на деталях нашего быта, попытался описать поступки и характеры всех членов нашей бригады, собираясь это использовать в описании своих героев. Нас было 16 человек, 8 девочек и 8 юношей. Бригадиром еще в Москве на бюро мы назначили одного из комсorghов наших групп Лешу Бармина, а я назывался комсorghом бригады. Среди ребят выделялся своей некоторой замкнутостью и молчаливостью Аркаша Поволоцкий, который лишь изредка вставлял в разговор остроумные замечания. Как раз у него была с собой «Оттепель» Эренбурга, которую он мне дал почитать. В моей дневниковой записи много рассуждений о нем. Дело в том, что за его сдержанностью чувствовалось довольно ироничное отношение к этой нашей работе в колхозе, а заодно и вообще ко всей нашей советской действительности. Это мне, конечно, не могло нравиться. Но я готов был ему это простить за его остроту ума, интерес к литературе – особенно хорошо он знал французскую классику. У меня еще сохранялось убеждение, что умные люди не могут, в конце концов, не понять важности и правильности тех высоких целей, с достижением которых связано построение коммунистического общества. И наоборот, идейные дураки только компрометируют эти великие цели.

Аркаша часто работал в паре с Витей, который был старостой нашей группы на первом курсе. Они сошлись с Аркашей на своем прохладном отношении к работе. Но у Вити это происходило просто от слишком бережного отношения к себе. В первые дни он ходил в белой панаме и все спрашивал, не очень ли у него покраснела спина, как бы не перегрелась. И все изумлялся себе: я впервые в жизни такое долгое время на солнце. Днем, в обеденный перерыв и вечером мы купались в речке Колочь. Витя плавать не умел, попросил, чтобы его научили. Он влезал в воду в своей панаме. Она в конце концов упала в воду, мы стали ею играть, перебрасывая друг другу, но потом она утонула и ее унесло течением. Так ее и не удалось найти. Витя стал накручивать себе на голову майку. Этому Вите я и раньше не симпатизировал. Он меня раздражал своей привычкой резонерствовать, громким голосом произнося довольно очевидные мысли, не слушая при этом других. В будущем он стал успешным партийным деятелем у нас на факультете, так что мне еще придется его упоминать. Кстати, я тоже плавать не умел, ведь в Волосове у нас не было реки и тем более бассейна. Но я никому об этом не говорил и на третий день как-то научился держаться на воде, стал плавать сначала по-собачьи, а потом и некоторым подобием брасса.

Самым старшим у нас в бригаде был Толя, ему было уже лет 25, и до университета он успел поработать где-то учителем. Но разницы в возрасте не чувствовалось, он как-то сумел раствориться в нашей юной компании. Он уделял внимание нашей симпатичной Лиде Казаковой. Она ходила в соломенной шляпке и выглядела эдакой дачной барышней. Какая-то колхозница ею залюбовалась: «Вы, наверно, москвичка. Такая нежненькая, прямо балерина». Толя звал ее кнопкой и кошечкой. Она отвечала – мяу-мяу. Когда они работали рядом на прополке моркови и за ней оставался невыдернутый сорняк, Толя указывал: «Лидочка, сорнячок». Лидочке это, видимо, нравилось. Но это очень раздражало еще одного претендента на Лидочкино внимание Марика Коваленка. Он довольно глуповато пытался чем-нибудь зацепить Толю, говорил, что у Толи очки превращают морковку в сорняк. Марик был болезненно самолюбивым, если на кого-то злился, то всегда старался как-то высмеять обидчика, и при этом всегда неудачно. Он на следующий год стал моим соседом по общежитию. Так что о нем и о его судьбе, к сожалению, печальной, я еще буду писать.

Мы работали в деревне Новое село Можайского района, недалеко от Бородина, а в соседних деревнях работали две бригады с первого потока нашего курса. Кстати, у нас был один перебежчик с первого потока. Это Володя Лин, который к нам присоединился из-за своей Нади. Об этой паре я уже упоминал, когда говорил о дне рождения у Риммы. Они были почти семейной парой и вскоре действительно поженились. Володя всегда был при Наде, звал ее Надюшей, очень трогательно о ней заботился, на речке помогал ей надеть тапочки, давая опереться на себя. В то же время он умел окрасить юмором свои ухаживания. Когда нас везли в грузовике на работу в поле, нам приходилось стоять в кузове, держась друг за друга. Еле удерживались на ухабах. Володя чуть не упал, и попросил, чтобы его пропустили пройти к Наде, которая прочно стояла впереди, держась за верх кабинки. «Пустите меня, мне надо Надю охранять», – сказал он и стал за нее держаться. Свои трогательные заботы о Наде Володя распространял на всех девочек. Под его руководством мы принесли девочкам в дом, где их поселили, сено для матрасов, поделились с ними одеялами. Им предстояло спать в коридоре одного из домов, а мы поселились на чердаке другого дома. Дни стояли жаркие, и чтобы не работать в жару, мы вставали в 6 утра и работали до 12, а потом после обеда с 4 до 10 вечера. Леша был очень деловым и ответственным бригадиром. Утром и после обеда беспощадно будил нас, во время работы перерывы объявлял точно по минутам, назначал нормы, которые мы должны выполнить. Он жаловался мне на плохую работу Аркадия с Виктором и просил поговорить с ними. Очень серьезно обсуждал со мной, кого назначить завхозом бригады, и справится ли Рая, которую он предлагал. Всякие вопросы, иногда довольно мелкие, он обсуждал со мной тихо, как бы заговорщицки. А когда что-нибудь получилось и он доволен, он весело наклонял голову вперед и радостно и сильно потирал руки. Дескать, дело сделано. По вечерам он ходил к колхозному бригадиру узнать о работе на следующий день. Работали мы в основном на сене. Девочки подгребали подсушенное сено граблями, а мы складывали его в копны, работая вилами. Пару дней работали на прополке. Эта была более нудная работа. Когда мы работали на прополке моркови, Леша втыкал впереди палку, до которой предстояло дойти, чтобы выполнить норму. Эту палку мы прозвали воблой. Это слово у нас стало нарицательным, потому что в автобусе по дороге из Москвы у нас с собой было много сушеной воблы. Она была очень твердая. Мы ее всю дорогу ели, с трудом разгрызая, и потом уже смотреть на нее не могли. Все не очень симпатичное мы стали называть воблой. Поэтому, когда Лешину палку, отмерявшую норму, кто-то назвал воблой, Толя попросил, чтобы для него воблу ставили не впереди борозды, а сзади, и он тогда быстрее выполнит норму, убегая от ненавистной воблы. Леша обычно работал в компании с нашим завхозом Раей и ее подругой Лидой Волковой. Позднее Леша с Лидой составили еще одну супружескую пару из нашей бригады. С Лешей мы и позднее соприкасались по разным общественным и учебным делам. Он стал профессором, работал в нашем университетском Институте механики, а недавно в интернете я обнаружил, что он оставил интересные записки о своей родословной. Он там начинает со своего прапрадеда, который был потомственным купцом в Серпухове. Его дело продолжали его сыновья и внуки. А дед Алексея после революции был сослан в Вологду, а в 37-м году арестован. В Вологде прошло детство Алексея. В семье он получил глубоко религиозное воспитание, но в его студенческие годы это никак не проявлялось. В своих записках Алексей пишет: «Должен сказать, что никто дома меня не учил, что можно говорить, а что нельзя. Это пришло ко мне с осознанием самой жизни. Я понимал, что мы живем в двух мирах: один мир – это семья, где один круг общения, одни вещи, а другой мир – внешний мир, который в определенном смысле враждебен „нашему“, и надо уметь в нем устроиться, вживаться в него, не раскрывая своей внутренней жизни и жизни семьи». Однако не думаю, что в те годы, когда мы с ним вместе занимались комсомольской работой, он кривил душой и лицемерил, как-то, действительно, вживался во «враждебный мир». Он был очень искренним и чистым человеком. Временами даже казался мне немного наивным. Просто, видимо, какие-то навеянные верой основные моральные прин-

ципы глубоко в нем сидели, и он естественным образом им следовал в любой обстановке. А в постсоветское время в 90-е годы Алексей активно участвовал в решении вопроса о возвращении церкви помещения университетского храма Мученицы Татьяны, где до этого был Клуб гуманитарных факультетов. Об этом я тоже прочитал немало позже в интернете, раньше об этом не знал.

Два дня выдались дождливыми. В первый день дождь был несильный и мы еще работали на посевах турнепса. Но на второй день уже начался ливень. Мы оказались свободными от работы и решили подготовить концерт для колхозников. Мы втроем – я, Володя и Надя – надели плащи и пошли в местную библиотеку поискать материал для концерта. Библиотека, правда, оказалась закрытой, но мы разыскали библиотекаршу и попросили ее пойти с нами. Библиотекаршей оказалась хорошо знакомая нам колхозница, которая работала с нами на уборке сена и шумно спорила с трактористами и с председателем, которые, по ее мнению, что-то не так делали. А библиотекой оказался шкаф с книгами в колхозном клубе. Мы нашли там Чехова, Гоголя, Шолохова, еще что-то и потащили все эти книги под плащами в дом, где жили наши девочки. Стали подбирать, что можно использовать. Я вслух читал несколько рассказов Чехова. Пообсуждали, какие из них можно инсценировать. Но концерт организовать не пришлось, погода выправилась, и свободных дней больше не было. А я вдруг заболел, температура поднялась до 39 градусов. Наша медсестра принесла мне стрептоцид. Ребята договорились с хозяйкой и уложили меня на кровать в избе. Температура продержалась два дня, а на третий к вечеру я уже объявил себя здоровым. На время моей болезни выпало одно из воскресений. Нашей бригаде разрешили полдня не работать, и ребята ходили в Бородино, в музей. А я туда ходил попозже в обеденный перерыв. Прошелся также по Бородинскому полю, посмотрел памятники Кутузову, Багратиону, полкам, участвовавшим в сражении.

В последний день работы вечером устроили прощальный ужин. По жребию двоих выделили для похода в магазин. На застолье пригласили хозяйку и хозяина, который принял активное участие в вечере. Он принес меду и посоветовал нам добавить его в водку. Он много рассказывал о своем участии в войне, о том, что в девяти странах побывал за время войны. А хозяйка стала нам рассказывать о делах колхоза, похвалила председателя, который возглавляет колхоз уже 12 лет. Потом одобрительно отозвалась о реформах Маленкова, снизившего налоги для крестьян. Тогда в народе власть все еще отождествлялась с Маленковым, а роль Хрущева в структуре власти еще не была видна.

После разговоров мы вышли на крыльцо и долго пели. Когда нас на следующий день на автобусах привезли в Москву и мы вошли в университет через главный вход со стороны Ленинских гор, мы не узнали себя в зеркалах вестибюля – настолько забронзовели наши лица от загара, да и одеты мы были еще не для Москвы. И здание университета казалось сказочным дворцом после нашего чердака в деревне. Из колхоза мы привезли справку, в которой говорилось, что наша бригада поработала «хорошо и безукоризненно». И мы дразнили ребят из бригады с первого потока, которые вернулись в МГУ одновременно с нами и которым написали в справке лишь «работали добросовестно». Никакой оплаты труда студентов в колхозах тогда не предусматривалось. Лишь через несколько лет, когда началась целинная эпопея, студенческие отряды начали хорошо зарабатывать, и появился новый тип комсомольских активистов с предпринимательской жилкой.

В это лето у нас дома было много гостей. Приезжали папины братья Виктор и Михаил со своей женой Натой, а также моя конечновская бабушка. Все гости каким-то образом умещались в нашей комнате в Братцево. Спали гости на полу. Перед окнами нашей комнаты был маленький садик, где мы с папой соорудили небольшой стол, за которым я мог заниматься. Но занимался я довольно бестолково. На первом курсе у меня много времени занимало конспектирование разных работ классиков марксизма к занятиям по марксизму. Конспекты были обязательным условием получения зачета. И чтобы освободить себе время на втором

курсе, я не придумал ничего более полезного, чем заняться конспектированием работы Сталина «К основам ленинизма», которую нам предстояло изучать. Занимался я также языками, английским и немецким. А математикой почему-то позанимался довольно мало. Видимо, я по-прежнему не ощущал, что математика является центром моих интересов.

Я регулярно читал «Литературную газету», где было много статей, посвященных подготовке к намеченному на декабрь Второму Всесоюзному съезду советских писателей. Первый съезд состоялся 20 лет назад, и поэтому второй съезд воспринимался как важное общественное и даже политическое событие. Как раз в это время я прочитал статью Константина Симонова с критикой «Оттепели» Эренбурга, о чем я уже писал. Конечно, и эта, и другие критические статьи в «Литературке» писались тогда со строго партийных позиций, но все же какая-то дискуссия шла, и мне это было интересно читать. Например, был помещен ответ Эренбурга на статью Симонова, была статья Валентина Овечкина, который еще в 1952 году напечатал в «Новом мире» свои очерки «Районные будни» о проблемах деревни. Прочитал я тогда и роман Фаста «Подвиг Сакко и Ванцетти». Говард Фаст был коммунистом и считался у нас в то время чуть ли не главным современным американским писателем. Когда он в 1957 году вышел из компартии в знак протеста против действий Советского Союза в Венгрии, его перестали издавать и вообще упоминать.

Иногда у меня возникало желание продолжить работать над своей начатой в школе книжкой «Наша жизнь». Я прочитывал уже написанное, оно мне не очень нравилось, но все же в отдельной тетрадке я часто записывал какие-то наблюдения или мысли, которые могли пригодиться для книги. И в дневнике у меня порой встречается фраза: «*Вот это надо бы подробнее записать для „Н. Ж.“*». Продолжал я следить и за событиями в мире. В своем дневнике я отметил, что в июле закончилась Женевская конференция по урегулированию проблем Кореи и Индокитая. По поводу объединения Кореи, где военные действия закончились еще раньше, никаких результатов достигнуто не было, а в Индокитае французы прекратили свои военные действия и вывели свои войска. При этом Вьетнам был разделен на две части по 17-й параллели. Тем самым закончилась так называемая Первая Индокитайская война.

### 3. Перепады настроения на втором курсе

Учебный год на втором курсе я начал в довольно хорошем настроении. Не было проблем с занятиями, с особым удовольствием осваивал матанализ. Но особенно радовало меня то, что в Доме культуры на Ленинских горах, наконец, появилась театральная студия, и туда была объявлена запись. Я записался, прошел прослушивание, и начались занятия. Руководителем студии стал Николай Васильевич Петров, довольно известный в то время режиссер. Он в это время ставил в Ленинградском театре имени Пушкина (Александринке) спектакль «Они знали Маяковского» с Николаем Черкасовым в роли Маяковского. И Петров решил этот же спектакль попробовать поставить в студенческом театре, тем более что в пьесе среди действующих лиц было много студентов рабфака, поклонников Маяковского. Основная проблема – найти исполнителя роли Маяковского – решилась довольно легко. Кто-то нашел и привел к Петрову студента-химика Юру Овчинникова, очень подходящего для этой роли и ростом, и всеми своими другими внешними данными. Кстати, в будущем он стал академиком, вице-президентом Академии наук СССР, и, по-моему, актерский опыт помогал ему в его публичных выступлениях. По этому поводу мы позднее шутили, что в Академии у нас появился вице-президент в постановке Петрова.

В отличие от моего прошлогоднего опыта с Домом культуры на Моховой, здесь возникла перспектива реальной работы на сцене, сразу начались репетиции. А главное – не приходилось тратить массу времени на поездки в центр Москвы. Вместе со мной в студию был принят Виталий Карелин с химфака, который тоже ходил на занятия на Моховой. Как и я, Виталик был второкурсником, и в будущем мы не раз будем партнерами в разных спектаклях нашего театра. Они с Юрой Овчинниковым были из Сибири, из Красноярска и, кажется, даже из одной школы, но Юра был постарше. Мы с Виталиком получили роли рабфаковцев, правда, у Виталика роль была поинтереснее. Его персонаж был задуман как прототип Присыпкина из «Клопа» Маяковского. Нашу пьесу написал Василий Катанян, муж Лили Брик. Так что о Маяковском он знал, можно сказать, из первых рук. Пьеса-то, по-видимому, была слабовата, но работать с ней было интересно. Музыка к обоим спектаклям – и к нашему, и к ленинградскому – написал молодой Родион Щедрин. Он приходил на наши репетиции и в нужных местах садился за рояль за кулисами и сопровождал спектакль. А оформлял оба спектакля известный театральный художник Тышлер. В то время новый университет на Ленинских горах, именовавшийся тогда не иначе как Дворцом науки, все еще находился в центре общественного внимания и, видимо, получал щедрое финансирование. Поэтому Петров и Тышлер смогли заказать к спектаклю довольно дорогие декорации. У нас даже вагон появлялся на сцене, на котором куда-то уезжал Маяковский. Приходила на наши репетиции и Лиля Брик вместе с Катаняном. Она очень симпатизировала нашему Маяковскому.

Моя роль рабфаковца Зайцева меня не очень удовлетворяла. Мне хотелось чего-нибудь поярче. И я решил в какой-нибудь форме возродить моего школьного Хлестакова. Быстро нашлась Мария Антоновна. Ее охотно взялась играть симпатичная пухленькая Валя Макарова с биофака. А помощница Петрова, Мария Гавриловна Кристи-Николаева, обещала помочь найти кого-нибудь на роль Анны Андреевны и с нами порепетировать. Анной Андреевной у нас стала пожилая и очень активная участница нашей студии Елизавета Михайловна. Она и своего мужа, профессора экономического факультета, привела в студию, и он в спектакле о Маяковском изображал старика в книжном магазине, в который зашел Маяковский. Отрывки из «Ревизора» мы показали, кажется только два раза – на вечере у биологов и еще в каком-то концерте.

На втором курсе в общежитии я получил комнату в башне зоны В. Там были просторные комнаты, в которые поселяли по двое. Меня там поселили с Мариком Коваленко, которого я

уже упоминал, рассказывая о работе в колхозе. Не знаю, почему мы оказались соседями по комнате. Возможно, я не сделал заранее заявку, с кем я бы хотел поселиться. Во всяком случае с Мариком у меня было мало общего. Это был парнишка очень самолюбивый, но с довольно узким кругозором. И вот однажды я был один в своей комнате и репетировал сценку объяснения Хлестакова с Анной Андреевной – это было еще до нашего выступления с этим отрывком. Стоя на коленях перед окном, я с жаром произносил: «Жизнь моя на волоске. С пламенем в груди прошу руки вашей». В это время дверь открылась и в комнату вошел Боря Панеях, который у меня часто бывал и иногда даже ночевал у нас. Он не сразу понял, что происходит, а поняв, почувствовал мне, имея в виду, что эти мои экзотические занятия, наверное, не очень понятны Марику.

С Валею Макаровой у нас был небольшой роман, я ее провожал домой куда-то в дальний конец Москвы, но в наших отношениях далеко дело не зашло. К тому же мне показалось, что претендуя на мое внимание, она в то же время посматривает на красавца-филолога Светика, постарше нас, который ненадолго появился у нас в студии. Она с ним и раньше была откуда-то знакома, и он даже гримировал нас перед постановкой «Ревизора». Были еще планы параллельно с «Маяковским» репетировать «Горе от ума», и я надеялся на роль Чацкого, но Светик раньше меня сделал эту заявку и считался первым кандидатом, а мне Мария Гавриловна предложила Загорецкого. Я был недоволен, переживал, но потом репетировал с удовольствием. Правда, эти репетиции недолго продолжались, и в конце концов эту идею со вторым спектаклем оставили. Кстати, «Горе от ума» начал с нами ставить довольно известный режиссер Григорий Кристи, видимо, родственник нашей Марии Гавриловны. А этого Светика-Чацкого я потом заметил в массовке в фильме «Карнавальная ночь». Он там сидит за столиком среди гостей во время празднования Нового года, и его показывают крупным планом. О его дальнейшей судьбе ничего не знаю.

С Марией Гавриловной у нас были еще занятия этюдами. Помню, что однажды она поделила нас на пары, и мы должны были изобразить сценку знакомства. Мне с одной девушкой досталась сценка в парке. Мы с ней договорились, что дело происходит ночью. Она сидит на лавочке и читает при свете фонаря, я к ней подхожу и спрашиваю, не знает ли она, с какого часа утром метро открыто. Опоздал, говорю, на метро и на электричку, придется ночь проводить в Москве. Потом спрашиваю, что читает, и так далее. У меня в дневнике записано, что тут мне пригодился свой недавний опыт, когда я действительно опоздал на транспорт и ночь провел в центре Москвы. Я в эту осень стал захаживать на танцы в знаменитый шестигранник в парке Горького, каких-то приключений искал. И в университете стал ходить на танцы. Не знаю, как время на это находил, потому что снова навалились комсомольские дела.

С этого года наш курс поделили на два новых потока: первый – поток математиков и второй – поток механиков. В результате и все наши группы, в которых мы учились на первом курсе, перемешались. Поэтому у нас сначала прошли отчетные комсомольские собрания по старым потокам и я отчитался о работе нашего бюро на старом втором потоке, а потом уже прошли выборы новых бюро отдельно у математиков и у механиков. Перед этим я должен был подобрать комсоргов групп и провести выборные групповые собрания. Почему-то я этим занимался на обоих потоках. А сам я вскоре был избран в новый состав факультетского бюро. Снова пришлось заниматься в основном организационными делами, и поэтому большого удовлетворения комсомольская работа не приносила, а времени отнимала много. Опять пришлось заниматься организацией тренировок спортивного парада к очередной годовщине Октябрьской революции, причем я теперь отвечал за всю колонну мехмата, да еще и за присоединенную к нам небольшую колонну биологов. Тренировки снова проходили в парке Горького, а 7 ноября наши колонны, изображавшие спортсменов, прошли по Красной площади, замыкая праздничную демонстрацию.

В дневниковых записях, относящихся к этому времени, у меня много рассуждений по поводу того, почему комсомольская работа в университете не приносит мне того удовлетворения, которое я чувствовал в школе. В начале ноября я участвовал в университетской комсомольской конференции. Мне очень понравились многие выступления и веселый капустник биологов, которой они показали в конце конференции. После конференции я записал в дневнике, что у меня сейчас складывается несколько новый образ положительного комсомольского героя, отличный от образа Виктора (героя моей «Нашей жизни»): *«Он мало говорит, не выносит фраз и даже готов посмеяться над теми, кто пускается в пустые рассуждения. Для него всякие высокие материи очевидны, и рассуждать о них нечего, если ты среди близких себе по духу людей»*. Тут, конечно, содержится косвенная самокритика по отношению к моей деятельности школьных лет.

Вскоре, однако, у меня появился повод для еще более грустных размышлений по поводу моих общественных дел. У меня заканчивался партийный кандидатский стаж, и подошло время, когда партийная организация факультета должна была рассмотреть вопрос о моем приеме из кандидатов в члены КПСС. Я получил все необходимые рекомендации, включая рекомендацию университетского комитета комсомола. А буквально накануне к нам на заседание факультетского комсомольского бюро пришел секретарь партийного бюро Павленко. Одним из вопросов, которые мы рассматривали на бюро, было персональное дело двух наших аспирантов-армян, которые оказались вовлеченными в какую-то драку в общежитии с физиками из Азербайджана. По их словам, азербайджанцы на них напали, они оборонялись, причем один из них вообще в потасовке не участвовал и лишь пытался предотвратить драку. Мы долго обсуждали, какое наказание им вынести. Павленко настаивал, что одного из них надо исключить из комсомола. Но большинство из нас, и я в том числе, проголосовали за выговор.

А на следующий день на факультетском партсобрании обсуждался вопрос о моем приеме. И почти в самом начале обсуждения Павленко выступил против приема, потому что на вчерашнем заседании комсомольского бюро я не проявил «партийной принципиальности», и поэтому «политически не подготовлен к вступлению в партию». Его поддержал еще один член партбюро. За меня активно выступил секретарь нынешнего комсомольского бюро Комаров и даже Шабунин, наш прошлогодний секретарь, с которым у меня были не очень гладкие отношения. Началась длительная дискуссия часа на два, мне пришлось отвечать на кучу вопросов по поводу моей прошлогодней работы секретарем бюро на первом курсе. В конце концов, меня приняли, но при значительном числе голосов против, и это не могло не сказаться на последующем утверждении моего приема на парткоме университета и в райкоме партии. На заседании Ленинского райкома мне, в конце концов, продлили кандидатский стаж еще на год.

Это событие на какое-то время совсем выбило меня из колеи. В дневнике я стал рассуждать о причинах своих неудач. По поводу неприятностей на собрании я быстро пришел к выводу, что тут мне не в чем себя упрекнуть: на нашем бюро я правильно голосовал, и я не мог голосовать иначе просто для того, чтобы поддержать Павленко. К тому же он мне казался довольно ограниченным человеком. У нас на мехмате большинство среди коммунистов составляли механики, в их руках обычно была партийная власть на факультете, а математиков они всегда подозревали в вольнодумстве и зазнайстве. Парторганизация отделения математики часто оказывалась в оппозиции к факультетскому партбюро. Так что я посчитал, что в возникших на собрании проблемах мне не в чем винить себя. Но меня угнетало то, что, помимо проблем с приемом, в последнее время я часто вообще терял уверенность в себе. В своих дневниковых записях я перечислил направления своей жизненной активности, которые мне тогда представлялись важными, отметил, что в каждом из них я не удовлетворен достигнутыми результатами, и попытался разобраться в причинах этого. Прежде всего я отметил, что не всегда свободно себя чувствую на занятиях, не все с налету воспринимаю. Тут я решил, что дело в недостатке времени, надо выкраивать на занятия больше времени, стараться

больше читать и сверх программы. В этом отношении по-прежнему образцом для меня оставался Женья Голод из нашей группы, который, стараясь охватить все, буквально «коллекционировал» спецкурсы и семинары и к концу второго курса законспектировал, кажется, 12 спецкурсов. Мне тогда казалось, что все дело в объеме освоенного материала, в эрудиции. Позже я понял, что, конечно, эрудиция – не гарантия успеха в математике. Что для того чтобы решить серьезную задачу, нужно «заболеть» ею, забыв про все остальное. И только тогда, быть может, успех придет к тебе.

Дальше в записях у меня упомянуты другие мои дела, которые мне не приносят ожидаемого удовлетворения. В комсомоле мне приходится заниматься не тем, чем хочется, вот в театре дали роль Загорецкого вместо Чацкого, в шахматах никак не выполняю норму на первый разряд, совсем не остается времени на то, чтобы писать свою «Нашу жизнь». И в заключение я записал: *«Что же это получается – я во всем дилетант? Это меня ни в коем случае не устраивает»*. Но выход из положения я ни в коем случае не хотел видеть в том, чтобы отбросить какое-то из перечисленных дел. Единственное, что я порекомендовал себе – это ограничить, если не прекратить, всякие развлечения, вроде танцев в клубе. И еще записал: *«Следить за тем, чтобы есть и спать. Теперь главная задача – кроить время»*.

После этой записи, сделанной в середине ноября, я три месяца ничего не записывал в дневник. Наконец, 16 февраля 1955 года записал: *«После последней записи не хотелось записывать, пока не будет каких-нибудь решительных изменений. Но изменений нет. А время идет. Поэтому буду коротко записывать хоть некоторые внешние события»*.

На зимней экзаменационной сессии в январе добавился еще один повод для плохого настроения – на экзамене по алгебре получил четверку у Шафаревича. Из-за разделения нашего курса на математиков и механиков лекторы у меня сменились. Это было связано с тем, что на первом курсе я был на втором потоке, а теперь поток математиков назывался первым, и на нем лекторами стали те же профессора, которые на первом курсе читали лекции нашему прежнему первому потоку. Таким образом, моим лектором по алгебре вместо Куроша стал 30-летний Игорь Ростиславович Шафаревич, очень талантливый математик, про которого было известно, что он еще школьником сдавал экстерном экзамены на мехмате МГУ и в результате окончил университет в 17 лет, кандидатом наук стал в 19, а доктором – в 23 года. Позднее он стал также известным диссидентом, другом Солженицына и Сахарова, но потом с Сахаровым их дороги разошлись, когда Шафаревич перешел на антилиберальные консервативные позиции с привкусом антисемитизма.

А лектором по анализу на втором курсе у меня стал профессор Хинчин, тоже очень известный математик, но уже достаточно пожилой в то время. Он был также известен как хороший методист и популяризатор математики. По его книгам я занимался еще на первом курсе. Свои лекции он читал неторопливо, подробно обосновывая каждый шаг, и нашим продвинутым студентам это не нравилось, и они пропускали лекции. Семинарские занятия по анализу в моей группе вела доцент Кишкина, а экзамен у меня в январе принимала ее подруга Айзенштат. Обе они были известны своей свирепостью на зачетах и по этому поводу часто становились героинями разных анекдотов и студенческих капустников. У меня с анализом все всегда было в порядке, а четверка по алгебре от Шафаревича, в общем-то, была справедливой. Именно поэтому это и портило настроение. Я потом, правда, этот экзамен пересдал, получил отлично, но к алгебре у меня еще долго оставалось настороженное отношение, пока я не понял, что и ее проблемы можно интерпретировать геометрически, о чем я уже упоминал. Во втором семестре у нас начались лекции по дифференциальным уравнениям, которые нам читал академик Понтрягин. Несмотря на то, что он был слепой, он как раз часто пользовался геометрическим языком, и мне очень нравились всякие седла и другие рисунки фазовых траекторий, которые возникали на доске во время его лекций. На доске за Понтрягина писал его ученик

и ближайший сотрудник Мищенко, тот, который у нас на первом курсе вел семинарские занятия по аналитической геометрии.

В те годы на мехмате студенты уже со второго курса начинали писать курсовые работы. В подавляющем большинстве это были реферативные работы, попытка войти в какую-то тему, чтобы к третьему курсу уже выбрать кафедру и уже сделать первые шаги к научной работе. Несколько человек из моих сокурсников, которые еще на первом курсе успели побывать на многих семинарах, к этому времени уже определились в своих математических вкусах, и они себе выбрали научного руководителя вполне осознанно. Женя Голод стал учеником Шафаревича. Другим учеником Шафаревича с нашего курса стал Юра Манин, будущий известный и очень разносторонний математик. Я еще много раз буду его упоминать. Его я ценил прежде всего за то, что от него можно было узнать всякие новости из сферы литературы и вообще культуры. Он, например, рассказал про интересные лекции замечательного пушкиниста Бонди на филологическом факультете, и я несколько раз ездил на Моховую послушать эти лекции. Определился со своим научным руководителем и Дима Аносов, будущий академик. Он стал заниматься дифференциальными уравнениями под руководством Понтрягина и Мищенко. С Димой на втором курсе я был не очень близко знаком, тем более что на первом курсе мы были на разных потоках. Ближе мы с ним познакомились, когда на третьем курсе оказались в одной группе. Он уже студентом выглядел академиком, неспешно и крайне серьезно произнося свои безапелляционные суждения по разному поводу, порой довольно остроумные.

Я на втором курсе еще не был готов к тому, чтобы уже определить свою математическую судьбу. Мне было ясно, что лучше мне выбрать какую-нибудь тему из анализа. К тому же я в это время ходил на лекции зажигательной и остроумной Нины Карловны Бари по теории функций действительного переменного. Об этой замечательной женщине я еще напишу. Но почему-то к ней я тогда не догадался обратиться. Для нашего курса профессор Стечкин (он, правда, в то время еще не был профессором) в большой лекционной аудитории на 16 этаже устроил обзор возможных тем курсовых работ по анализу. Он упомянул несколько десятков тем, и я выбрал тему про разрывные функции («классификация Бэра»). Не помню, сразу ли я ее выбрал или через несколько дней. Почему-то моим руководителем по этой теме оказался аспирант Пламеннов. Это был аспирант Меньшова, но самого Меньшова я в то время еще не знал, да и не уверен, что знал, кто он такой. Пламеннов мне никаких интересных задач не предложил, просто дал задание читать старую книжку Бэра по теории разрывных функций. Я ее изучал во время зимних каникул. И еще я читал учебник Лузина по теории функций, который я незадолго до этого купил. Об академике Лузине я впервые услышал на лекциях Бари. Она была ученицей Лузина в двадцатые годы и восторженно рассказывала о нем и возглавляемом им сообществе его учеников, которое они называли Лузитанией. Я об этом подробнее напишу, когда дойду до моего знакомства с Меньшовым. В начале марта Пламеннов начал меня торопить, дал мне недельный срок на написание работы и объявил дату защиты. Я несколько дней занимался только курсовой, пропустил несколько лекций, мало спал и в результате закончил более-менее в срок. Курсовые и дипломные работы тогда писали от руки. Я исписал целую тетрадь, и перед защитой Пламеннов поворчал на меня, что я написал работу слишком мелким почерком и он с трудом ее читал. Но защита прошла вполне благополучно, я получил отлично. На защите кроме Пламенного был Петр Лаврентьевич Ульянов, тогда еще молодой ассистент, с которым позже меня надолго свяжет судьба. Он попросил меня привести пример всюду разрывной функции с некоторыми дополнительными свойствами. Я такой пример сразу привел, и мы остались довольными друг другом. В общем, несмотря на то, что у меня оказался довольно случайный и не очень удачный руководитель, работа над курсовой все-таки дала мне толчок поглубже вникнуть в теорию функций.

После защиты, ближе к весне, настроение у меня стало постепенно улучшаться. В апреле и мае многие зачеты я сдал досрочно и потом составил для себя план интенсивных занятий

по математике, включая подготовку к сессии, а также изучение литературы, которую нам рекомендовали на спецкурсах. Но в дневнике записал: *«Дело, однако, осложняется тем, что я не хочу ограничивать себя занятиями одной лишь математикой»*. В это время шли заключительные репетиции «Маяковского». Премьера была уже назначена на апрель, но потом, кажется, из-за задержек с подготовкой довольно сложных декораций ее перенесли на осень. Репетиции стали приносить мне удовлетворение. Хотя у меня была не очень большая роль, но мне удалось ее как-то раскрасить, и наш режиссер Петров меня хвалил при разборе репетиций. Коллектив у нас в студии к тому времени сложился довольно дружный, и я в нем довольно хорошо себя чувствовал. И Петров мне очень нравился. После репетиций он с нами подолгу разговаривал, вспоминал Станиславского, Немировича-Данченко, Маяковского. Он говорил, что искусство неизбежно должно быть тенденциозно, и утверждал, что оно должно заниматься не жизнеописанием, а жизнестроительством. Мне это нравилось, было созвучно моим настроениям, и в дневнике я записал: *«Петров – глубоко идейный человек»*.

В начале мая 1955 года в Москве очень торжественно отметили 200-летие университета. Большой митинг по этому поводу прошел на площади перед Главным входом, обращенным к Ленинским горам. Перед митингом у каждого факультета был свой пункт сбора. Мы собирались во дворе зоны Б, потом нам открыли большие ворота, которые обращены к Ленинским горам и в обычное время закрыты, и мы колонной прошли к площади. Один из наших студентов был с аккордеоном, и в ожидании митинга мы образовали круг, пели, танцевали. У меня сохранился снимок, сделанный Борей Панеяхом, на котором мы с Риммой Павловой выплясываем что-то зажигательное. Сначала было солнце, но потом полил дождь, даже с градом, как раз когда начался митинг и выступал наш ректор Петровский. Вечером в Актовом зале был большой концерт, в котором участвовали многие известные артисты, помню, например, что выступала Плисецкая. А потом и в фойе, и на всем первом этаже начались танцы. В этот же день торжественное заседание, посвященное 200-летию, прошло в Большом театре, там я не был. А в июне в нашем Актовом зале состоялось вручение университету ордена Красного знамени, присужденного по случаю 200-летия. У меня был пригласительный билет на это торжество, но из-за каких-то срочных комсомольских дел я успел туда забежать ненадолго, чтобы вблизи увидеть живого Клима Ворошилова, вручавшего орден. У меня еще с довоенных времен в ушах звучала песня: *«Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер, сумеет кровь пролить за эсэсэр!»* Правда, в войну и в послевоенные годы его слава померкла, но после смерти Сталина он стал председателем Президиума Верховного Совета СССР. Это была почетная должность, не дававшая никакой реальной власти. Такой декоративный Президент СССР, за подписью которого выходили все указы, подготовленные Центральным комитетом КПСС. При Сталине эту должность занимал Калинин, потом Шверник.

В это время у меня в дневнике появилось больше записей про всякие международные дела. В предыдущие месяцы я, сосредоточенный на занятиях и разных своих проблемах, про политику мало записывал. Не записал даже о том, что мой любимый Маленков перестал быть Председателем Совета министров и на его место был назначен Булганин. А Маленков стал министром электростанций. Все более становилось понятным, что власть сосредотачивается в руках Хрущева. В июне я записал, что видел приезжавшего в университет Неру, премьер-министра Индии, который посетил СССР вместе со своей дочерью Индирой Ганди. Позднее, осенью, Хрущев вместе с Булганиным ездили в Индию с ответным визитом. Они в это время все время ездили вместе. Появились разные анекдоты, в которых они фигурировали как «два туриста». А вместе они ездили потому, что Хрущев тогда не имел никаких официальных правительственных должностей, так что Булганин был нужен в качестве формального главы правительства для встреч с главами других государств. Но все уже понимали, что фактически главой СССР становится Хрущев. Мне вся эта международная активность Хрущева нравилась, особенно укрепление связей с Индией и другими азиатскими странами. Я в этой нашей откры-

тости миру видел шаги в направлении мировой победы социализма и коммунизма. Все лидеры иностранных государств, посещавшие Москву, непременно приезжали и к нам в университет, и я многих из них видел. Большую симпатию у москвичей вызвал приезжавший в Москву несколько позже шахиншах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви и особенно шахиня Сорайя. Но вот к поездке Хрущева и Булганина в Югославию, которая состоялась еще в мае 1955 года и завершилась братанием с Тито, я отнесся настороженно. Я привык считать, что Тито изменил делу интернационализма, и не хотел ему этого прощать. Позднее, уже в июле, Хрущев и Булганин ездили в Женеву на первую после окончания войны и Потсдамской конференции 1945 года встречу глав четырех великих держав – СССР, США, Великобритании и Франции. Официальным главой советской делегации снова был Булганин, а в США в это время президентом был Эйзенхауэр. Никаких существенных результатов это совещание не принесло, но все же это был заметный шаг к ослаблению напряженности в мире. Возник термин «дух Женевы» как символ стремления к сотрудничеству, к решению споров мирным путем. Правда, употреблялся он в основном при желании упрекнуть противоположную сторону в нарушении этого духа.

## 4. Снова в колхозе

Лето 55-го года у меня снова, как и после первого курса, началось с двухнедельной поездки в колхоз. Всю весеннюю сессию я довольно уверенно сдал на отлично, так что настроение было хорошее. Выехали мы в колхоз 1 июля. За день до этого у меня много времени ушло на то, чтобы договориться о транспорте. И косвенным результатом этих переговоров явилась такая забавная ситуация. Я сидел на телефоне в университетском комитете комсомола, дозванивался до колхоза, куда мы должны ехать. В это время туда зашел секретарь комитета, поискал своего заместителя, никого не нашел и попросил меня вместо него пойти в качестве представителя университета в Летний театр в Парк культуры на вечер московских студентов, посвященный окончанию учебного года. Пригласительный билет, который он мне дал, оказался в президиум, и во время торжественной части мне действительно пришлось сидеть в президиуме вместе с министром высшего образования Елютиным и еще каким-то начальством.

Для поездки в колхоз нам не удалось достать автобус. Дали нам только открытый грузовик, в кузове которого были установлены скамейки. На нем мы доехали до деревни Клементьево в том же Можайском районе, в котором работали и прошлым летом. На этот раз у нас было две бригады – моя, в которой было несколько человек из моей группы и математики из других групп, и бригада, состоящая целиком из астрономов со своим бригадиром Жорой Христофоровым. Но фактически мы были единой бригадой, и с Жорой мы без труда согласовывали все общие дела. Отделение астрономии входило в состав нашего факультета до следующего, 1956 года, когда оно вместе с астрономическим институтом (ГАИШ) было переведено на физфак. С нашими астрономами я до этого был мало знаком, так что только в колхозе познакомился поближе. Нас сразу всех вместе поселили на чердаке какого-то амбара. Там и спали на полу в рядок, на сене, у одной стенки – женская спальня, у другой – мужская. Так сложилось, что на меня легла обязанность рано утром будить обе бригады, и одна из наших девочек Галя Ким много лет спустя при встречах часто мне говорила, что при воспоминании об этом лете в колхозе у нее сразу в ушах раздается моя беспощадная команда «Подъем!»

Как и в прошлом году, работали мы в основном на уборке сена и на прополке. Эта наша поездка в колхоз понравилась мне больше прошлогодней. Сложилась более дружная компания, и жили мы повеселее. Во многом этому способствовала сплоченная группа астрономов. Они уже с первого курса были вместе. Среди них я особенно симпатизировал двоим подругам, с которыми часто общался. Одна из них, миниатюрная Мила, была старостой их группы. Мне нравилась ее манера с серьезным видом объяснять какие-нибудь очевидные вещи, и при этом было трудно понять, дурачится она или всерьез. Она была мерзлячка, и когда мы вечерами собирались и пели у костра, она жаловалась, что у нее замерзают ноги, и тогда мы с ней начинали под песни что-нибудь вытанцовывать. А ее подруга Альбина хорошо пела, но перед концертом, который мы запланировали на один из наших последних дней в колхозе, она слегка простудилась, и мы ее лечили горячим молоком.

В моей бригаде было несколько человек из моей учебной группы, в том числе Римма и Володя Кузьминов, с которым мы часто спорили на философские темы. Меня тогда все еще волновали навеянные чтением эпилога «Войны и мира» идеи о предопределенности всей нашей сознательной активности, о чем я уже писал раньше, в первой части книги. А Римма в нашей бригаде была моей главной надежной союзницей и была моим агентом влияния на девочек, которые иногда выражали недовольство тем, что мальчики им мало помогают на кухне. Римма была очень хозяйственной и даже считала, что девочки, в основном, сами могут справиться по кухне, но все же на дежурство я обычно назначал смешанные пары. Мы сами себе готовили обеды и все остальное из продуктов, выделенных колхозом. Иногда что-то покупали в магазине, особенно тогда, когда был повод что-то отпраздновать. Еще в первые

дни нашей жизни в деревне мы отметили двадцатилетие Риммы. К этому юбилею мы присоединили день рождения Лени Бокутя, который, правда, до двадцатилетия еще не дорос, ему исполнилось только девятнадцать. Лишь намного позднее я узнал, что наш очень скромный улыбчивый Леня в детстве пережил страшные трагические события во время немецкой оккупации Белоруссии. Его мать, которая была еврейкой, сначала избежала концлагеря, скрываясь вместе с детьми в крестьянской избе родственников своего мужа-белоруса, отца Лени, а потом какой-то знакомый полицай ее выдал немцам, и она была расстреляна чуть ли не на глазах Лени. Кстати, и Леня, и Володя Кузьминов в будущем стали известными математиками и всю жизнь проработали в Новосибирском Академгородке.

Самым значительным событием в нашей колхозной жизни стал наш концерт в колхозном клубе. Готовиться к нему мы начали заранее, выяснили, кто с чем может выступить, составили возможную программу концерта. Мы поняли, что номеров у нас маловато, да и с музыкальным сопровождением для нашего хора, который мы создали, есть проблемы. Поэтому мы отправили делегацию в соседний колхоз, где работала еще одна бригада с нашего курса во главе с Володей Левенштейном и бригада первокурсников. В бригаде Левенштейна работал главный музыкант нашего курса Витя Шебеко, и мы с ним условились, что он и еще несколько человек из первокурсников приедут и поучаствуют в нашем концерте. А за это мы пообещали дать им в концерт наш танцевальный номер, с которым выступали Галя Ким и еще одна девочка из астрономов. За день до концерта провели репетицию. А хор наш начал готовиться к концерту заранее, репетируя по вечерам на нарах в нашем амбаре.

В день концерта мы устроили себе сокращенный рабочий день. К обеду приехали Витя с первокурсниками. Мы их хорошо накормили и пошли в клуб репетировать. Заведующая клубом заранее попросила нас, чтобы перед концертом, как тогда это было принято, мы организовали какое-нибудь просветительное мероприятие для зрителей. Я решил прочитать лекцию о международном положении. На закрытый занавес прикрепили карту мира, и я с указкой стоял у карты и рассказывал о развитии наших отношений с Индией, Бирмой и другими азиатскими странами. Еще во время репетиции я успел сбегать в колхозную избу-читальню и посмотреть свежие газеты. Там были опубликованы постановления только что состоявшегося пленума ЦК КПСС, посвященного в основном вопросам научно-технического прогресса, развитию автоматизации и механизации производства. Об этом я тоже рассказал в лекции. Во время лекции мне еще приходилось думать о том, как рукой с указкой закрыть чернильное пятно на моем пиджаке, которое у меня незадолго до этого образовалось из-за того, что протекли чернила из моей авторучки во внутреннем кармане (шариковых авторучек тогда еще не было, и ручки заправлялись обычными чернилами).

Большая афиша с объявлением о лекции и концерте заранее была вывешена на доске около клуба, и зал был полон. Концерт мы открыли выступлением нашего хора, потом я читал «Стихи о советском паспорте» Маяковского. После этого пошли более веселые номера. Витя Шебеко с успехом спел свою любимую «Ялту» (*«Ялта, где растет золотой виноград, Ялта, где ночами гитары не спят, Ялта, где так счастливы были с тобой...»*) и еще что-то из своего репертуара, станцевали Галя Ким с подружкой, Альбина с Милой спели дуэтом, я еще раз выступил и прочитал басни. Несколько номеров дали приехавшие первокурсники.

После концерта в клубе начались танцы, но мы ушли к себе, к своему амбару и устроили там свои танцы под аккордеон Виктора. Потом пели почти до двух ночи. Я тогда впервые выучил все слова многих самых популярных в те годы студенческих песен и даже записал их. Кроме известного «Глобуса» пели «Архимеда»:

Жаркий полдень приближался,  
Архимед в реке купался;  
Время близилось к обеду —

Стало жарко Архимеду.  
Вот он в воду окунулся  
И чуть-чуть не захлебнулся,  
И пошел бы он к прадедам  
Без закона Архимеда.  
Но по этому закону  
Оказался он спасенным:  
Этой силой благодатной  
Был он вытолкнут обратно.  
В благодарность за спасенье  
Архимед дал повеленье:  
Чтоб науки процветали,  
МГУ образовали.  
За сто лет до нашей эры  
Деканат был создан первый,  
И деканом сорок лет  
Был бессменно Архимед.  
Но прошло три года тщетно,  
А студентов незаметно.  
Архимед ходил угрюмый  
И стипендию придумал.  
После этого решенья  
От студентов нет спасенья.  
Архимед был удручен,  
«Эврика!» – воскликнул он.  
«Я декан и не позволю,  
Чтоб студентам дали волю,  
И студентам на беду  
Я экзамены введу!»

Пели еще песенку, у которой есть несколько вариантов, но, кажется, основной вариант был написан Бахновым.

В первые минуты  
Бог создал институты,  
И Адам студентом первым был.  
Адам был парень смелый,  
Ухаживал за Евой,  
И Бог его стипендии лишил.

От Евы и Адама  
Пошел народ упрямый,  
Нигде не унывающий народ.  
Живут студенты весело  
От сессии до сессии,  
А сессия всего два раза в год.

А вот песня мехмата:

Товарищ, товарищ, взгляни на мехмат,  
Увидишь отважных ребят и девчат.  
Нигде нет на свете таких, как у нас,  
Таких головастых,  
Лохматых, очкастых,  
Ну, словом, таких,  
Как мы стоим здесь сейчас.

Была еще одна мехматская песня на мотив «Раскинулось море широко» из репертуара Утесова, начинающаяся словами: «*Раскинулось поле по модулю пять, вдали интегралы стояли*, – и заканчивающаяся известной строчкой: – *А синуса график волна за волной по оси абсцисс убегает*».

Из-за забот о концерте я забыл назначить дежурных по кухне на следующий день, и утром мне пришлось взять дежурство на себя, поскольку я еще не дежурил. Я не стал никого будить, пошел в соседнюю избу, где была наша кухня и столовая, чтобы узнать, привезли ли молоко к нашему завтраку. Хозяйка сказала, что молоко уже привезли. Я вернулся в наш амбар, крикнул «подъем» и взял себе в напарницы Альбину, которая тоже еще ни разу не дежурила, и мы с ней уже когда-то раньше договаривались, что будем дежурить вместе. Хозяйка с почтением отнеслась к тому, что сам бригадир дежурит, усиленно нам помогала. Тут я обнаружил, что у нас кончилась картошка. Мы заняли ее у хозяйки дома, а рассчитались с ней талоном на получение у колхоза более 100 кг, за что она нас очень полюбила и еще больше стала помогать на кухне. Мы с Альбиной сходили за мясом в соседнюю деревню. Хозяйка взялась сама проследить за варившимся супом, и у нас появилось немного свободного времени до обеда. Мы с Альбиной посидели на чердаке у нас в амбаре и поразговаривали обо всем на свете. С ней было легко разговаривать, я ей очень симпатизировал. Она много рассказала мне о своей группе, о себе, вспомнила, как она еще в пятом классе решила стать астрономом и с тех пор ни разу не колебалась в своем решении. К сожалению, через год дружную группу астрономов перевели на физфак, они стали заниматься в другом здании, и мы с ними уже редко встречались.

Это был предпоследний наш день в колхозе, вечером предстоял прощальный ужин. У нас оставалось много хлеба, выданного колхозом. Мы продали несколько своих лишних буханок хлеба хозяйке и на эти деньги, к которым добавили собранные с каждого трешки – это была тогда вполне весомая купюра, – купили в магазине к вечернему банкету вина, рыбы, еще каких-то закусок. После ужина снова долго не спали, пели. Одна наша девочка ушла прогуляться к оврагу. Мы с Альбиной пошли ее искать, нашли ее у реки, в которой мы в жаркую погоду часто купались. Она рассказала про какую-то таинственную старушку, которую она видела у пруда. Вернулись назад, она всем повторила про старушку, и кто-то после этого предложил рассказывать страшные истории. Попробовали, но у нас получались какие-то смешные и веселые страшные истории. На следующее утро председатель колхоза попросил нас до обеда помочь заскирдовать скошенный клевер, потому что к вечеру обещали дождь. А после обеда мы уехали в Москву. Снова ехали в открытом грузовике. По дороге нас застал небольшой дождь. У меня был плащ, и под ним укрылись несколько девочек. Когда дождь кончился, наша маленькая Мила все не могла согреться и, закутавшись в плащ, оставалась сидеть у меня под крылышком. Когда проехали полпути, я всем выдал по сухарю и по кусочку сахара. Почти все время пели, при въезде в Москву запели «Утро красит нежным светом» и другие песни о Москве. У Киевского вокзала все москвичи сошли, в том числе почти все девочки-астрономы. А остальные доехали до Ленинских гор. Одновременно с нами вернулись и другие бригады с нашего курса. Вечером общежитская часть нашей бригады собралась на чай в комнате у Риммы. А утром, получив стипендию, я уехал домой в Братцево.

## 5. Приобщение к научным делам

Дома я на этот раз больше, чем прошлым летом, занимался математикой. Читал книжку Лузина по теории функций, которую нам, по-видимому, рекомендовала Бари. Что-то читал и по комплексному анализу. Еще до моей поездки в колхоз у нас дома появился телевизор. Его купили к моему 20-летию. Это был КВН-49 с малюсеньким экраном – первый советский телевизор массового производства. Размер его экрана – примерно 10 на 15 см. Смотрели его через линзу, которую заполняли водой. Линза держалась на специальных полозьях, которые подсовывались под телевизор, и расстояние от экрана до линзы можно было регулировать. Однажды к нам в гости заехал один мамин давний знакомый, который жил где-то далеко от Москвы в провинции и никогда в жизни не видел телевизора. Помню, что он сидит в нашей тесной комнате, в которой мы все тогда обитали, смотрит телевизор и восторженно произносит: «Вот так, наверно, при коммунизме все смогут жить!»

Телевизор, конечно, очень отвлекал от дел. Тогда по телевизору часто показывали хорошие фильмы, а также записи спектаклей ведущих театров. У меня записано, что я посмотрел итальянские фильмы «Мечты на дорогах» с Анной Маньяни, «У стен Малапаги» с Жаном Гобенем и старый трофейный фильм «Седьмое небо». По поводу этого фильма у меня написано, что фильм трогает до слез, пробуждает хорошие чистые чувства, но дальше идет рассуждение: *«Он силен тем, что добирается до сердца, но он заставляет лишь пассивно умильно созерцать. Этого мало. Нужно, чтобы искусство возбуждало активность»*. То есть я по-прежнему оценивал искусство с точки зрения его воспитательной роли. В этом смысле мои ожидания не подводили старые советские фильмы, которые тоже часто шли по телевизору. Я с удовольствием пересматривал «Волгу-Волгу», «Весну» и другие фильмы с Любовью Орловой. Благодаря телевизору я стал следить за футболом, правда, больше всего меня волновали международные матчи, которым я придавал политическое значение. В это время к нам нередко приезжали команды с Запада. Наш «Спартак» сыграл и выиграл у английских «Волков», а наша сборная в очень нервном матче обыграла сборную Западной Германии. Мама присоединялась ко мне и очень эмоционально реагировала на голы. Телевизор сделал более наглядными и политические новости. Мне очень понравился репортаж о том, как Булганин на правительственной даче устроил прием в честь иностранных послов.

Иногда мы с мамой ездили в Москву в театры. Тогда я впервые увидел молодую обаятельную Шмыгу в «Фиалке Монмартра», восходящую звезду театра оперетты. Побывали в Большом театре на «Евгении Онегине» с Лемешевым. Были мы, конечно, и на открытой этим летом выставке картин Дрезденской галереи. Это были картины, вывезенные из Германии в конце войны среди так называемого «трофейного искусства». Но Хрущев решил эти картины вернуть, тем более что Дрезден находился в советской зоне влияния на территории ГДР. И вот теперь перед передачей их Германии они были выставлены в Пушкинском музее, и все лето на выставку выстраивалась огромная очередь. В это время и после выставки в Москве продавалось много репродукций этих картин в виде фотографий, открыток, плакатов. Кроме рафаэлевской «Сикстинской мадонны» и «Святой Инессы» Риберы почему-то наиболее популярными стали репродукции «Шоколадницы» Лиотара. У нас дома долго висел плакатик с копией «Шоколадницы» в натуральную величину. Мы его поместили в рамочку, и создавалась полная иллюзия настоящей картины.

С папой мы ходили купаться на протекавшую недалеко от нас речку Сходню. На небольшой пляжик на Сходне по воскресеньям и из Москвы народ приезжал. К маме часто заходили ее ученики, только что окончившие 10 класс и поступавшие в это лето в университеты. Одна девочка даже поступила к нам на мехмат, но не смогла там надолго задержаться. Я ей пробовал помогать, но после неудач уже в первую сессию ей пришлось уйти.

Все это лето мы прожили в нашей комнатке в Братцево, а следующей зимой мама с папой получили комнату в новом четырехэтажном доме в районе трикотажной фабрики на окраине Тушина и переехали туда из Братцева. В этой комнатке мы вчетвером вместе с бабушкой и со мной, приезжавшим домой на выходные и на лето, прожили лет шесть. Комната была в двухкомнатной квартире, и во второй комнате жила учительница младших классов с мужем и маленькой дочкой. Муж работал на фабрике, и у нас дома за ним почему-то закрепилось прозвище Тарзан. Он пил, устраивал дома скандалы, так что соседство было не очень удачным. Теперь дорога из университета до дома стала для меня почти на полчаса короче.

Третий курс стал для меня в какой-то степени переломным. В это время у меня возникла передышка от серьезных комсомольских дел. Меня, правда, выбрали партгоргом курса, но партгруппа у нас была небольшая, человек пять. Кстати, осенью меня благополучно перевели из кандидатов в члены партии, и на этот раз процедура прошла без проблем. В качестве парторга мне приходилось иногда ходить на заседания комсомольского бюро курса, но просто в качестве такого наблюдателя и советчика, осуществлять, так сказать, партийное руководство комсомолом. Но это не отнимало много времени. Так что появилась возможность более регулярно заниматься математикой.

Стала постепенно возвращаться поколебленная на первых курсах уверенность в себе, в своих силах. Прежде всего это было связано с тем, что я стал свободнее себя чувствовать на занятиях и уже сделал первые шаги в получении самостоятельных научных результатов. Мне очень нравились задачи, которые мы решали на семинарских занятиях по комплексному анализу. Однажды я единственный в группе получил 5 за контрольную работу. Дима Аносов, с которым я теперь учился в одной группе, подшучивал, называя меня классиком комплексного переменного. Помню, что перед той контрольной я его спешно консультировал, потому что он не успел подготовиться. Он в это время уже активно занимался научной работой с Понтрягиным, и на такие мелочи, как контрольная, у него уже не было времени. Вместе с Сашей Дыниным, который в это время стал одним из самых близких моих друзей прежде всего из-за наших общих гуманитарных и философских интересов, и с Борей Митягиным мы ходили на семинар Евгения Михайловича Ландиса, на котором он нам давал очень интересные задачи по теории множеств и функций. Саша и Боря появились у нас только на втором курсе. Саша перевелся с физтеха, а Боря – из Воронежского университета. Боря был младше нас на два года. Он рассказывал, что школьную программу начальных классов он изучил дома со своей бабушкой и в школу поступил сразу в 3-й или 4-й класс. На третьем курсе Боря стал учеником Георгия Евгеньевича Шилова, который в это время читал нам курс под названием «Анализ III». Это был новый курс, введенный по инициативе Колмогорова. Раньше студентам читались два отдельных обязательных курса: «Теория функций действительного переменного» и «Функциональный анализ». То есть тот курс, который прочитала нам Бари в качестве спецкурса, раньше был обязательным. Колмогоров предложил эти курсы объединить, чтобы избежать повторов и сохранить из теории функций только материал, необходимый для понимания функционального анализа. Бари была немного сердита на Колмогорова за то, что в результате этой реорганизации она лишилась обязательного курса и тем самым доступа к более широкой студенческой аудитории. Кажется, Колмогоров сам прочитал этот объединенный курс год назад, а на нашем курсе его поручили читать Шилову, который только за год до этого перевелся в Московский университет из Киевского. Поскольку я послушал курс Бари, то мне первую часть курса Шилова было довольно легко воспринимать. В то время этот курс не сопровождали семинарские занятия, но Шилов к каждой лекции давал интересные задачи и время от времени устраивал контрольные работы для всего потока прямо в лекционной аудитории. По курсу Шилова у нас было два экзамена, в зимнюю сессию и весной. На экзамен Шилов приходил с тремя своими аспирантами: Костюченко, Житомирским и Борок. Я оба раза сдавал самому Шилову, все прошло благополучно. С Шиловым мы позднее довольно близко

познакомились, когда я после аспирантуры остался работать на нашей кафедре. Во-первых, его тоже интересовала теория интеграла, а во-вторых, он активно включился в работу нашего Клуба ученых, который я организовал в 60-е годы. Об этом я еще напишу. И Костюченко тоже остался работать у нас на кафедре после аспирантуры. Я ходил также на семинар по топологии Павла Сергеевича Александрова, одного из самых ярких наших профессоров. Он был воплощением типичного дореволюционного интеллигента, каким его представляли в фильмах о прошлом, с церемонными манерами, легким грассированием и изысканной речью. Он носил очки с толстыми выпуклыми линзами. Александров играл большую роль в культурной жизни университета. По поручению ректора Петровского он долгие годы возглавлял художественный совет университета. Когда возник наш Клуб ученых МГУ, он некоторое время был Председателем Правления клуба. Об этом тоже я еще буду писать. Он также устраивал в общежитии ставшие популярными музыкальные вечера с прослушиванием классической музыки. Правда, это было несколько позже. Подобные музыкальные вечера проводил и Шилов, а несколько реже их устраивал и Колмогоров.

В самом начале учебного года я сдал экзамен по спецкурсу Бари, причем это была досрочная сдача, так как по учебному плану первый экзамен по спецкурсам предусматривался только в конце третьего курса. Экзамен я сдавал вместе с Ирой Виноградовой на квартире у Бари. Нина Карловна жила в новом здании МГУ в одной из так называемых преподавательских зон. Это самая низкая, примыкающая к общежитию часть крыльев главного здания. Многие профессора в это время получили там квартиры.

После экзамена мы с Ирой заговорили о выборе научного руководителя курсовой работы. С Ирой мы вместе ходили на спецкурс Бари. На первом курсе мы с Ирой учились на разных потоках, но уже тогда все на курсе ее знали благодаря ее манере шумно разговаривать и заразительно смеяться. Она была переполнена энергией и активностью. И это она предложила мне пойти к Меньшову и попросить его стать нашим руководителем. Про Меньшова я тогда ничего не знал, даже не уверен, знал ли я, что он заведует кафедрой теории функций. Наверно, я видел его иногда в коридорах мехмата. Это был очень высокий худой мужчина с не очень аккуратно подстриженной бородкой и с палкой, на которую он опирался, передвигаясь довольно быстро, но не очень уверенной походкой. Ему тогда было чуть больше шестидесяти. Главное, что его отличало, был громкий голос, который разносился по всем этажам мехмата. Мы с Ирой подошли к Меньшову, и он сразу согласился быть нашим руководителем и даже сразу дал темы курсовых работ. Мне он предложил заниматься интегралами Данжуа, а Ире – так называемым А-интегралом. Он также сказал нам, что он начинает читать спецкурс по обобщенным интегралам и посоветовал посещать его.



Д. Е. Меньшов задает вопрос докладчику на своем семинаре

То, что я стал учеником Дмитрия Евгеньевича Меньшова, оказалось для меня невероятной удачей. Вряд ли моя судьба в математике сложилась бы столь благополучно, попади я к кому-нибудь другому. Он не был избалован учениками-вундеркиндами. Вводя своего ученика в курс дела, он не ожидал от него большой эрудиции, не требовал какой-то предварительной подготовки. Прежде чем ставить задачу, он дал мне две статьи англичанина Беркиля и книжки Данжуа. Единственное, чего он не хотел принимать во внимание, это то, что у кого-то могут возникнуть проблемы при чтении литературы на иностранном языке. Он считал, что математику можно читать на любом языке. С французским я до той поры не сталкивался, и мне пришлось, вооружившись словарем, начать продираться сквозь французские тексты Данжуа. А задачи он ставил такие, в которых он сам хотел разобраться, которые его действительно интересовали. Помню, как мы сидим с ним вместе за столом, он рисует на листочке картинку графиков, пытаюсь разобраться в вопросе, который сам же передо мной поставил. Потом он что-то понял и поставил следующий вопрос. Я забрал у него этот листочек и дома несколько дней пытался понять, что же он там понял. И когда разобрался, стало ясно, в каком направлении надо двигаться дальше. Основной вопрос, который я должен был решить в своей курсовой работе, касался взаимоотношения двух интегралов: широкого интеграла Данжуа и так называемого «тригонометрического» интеграла Беркиля. Довольно скоро стало понятно, что решить вопрос можно было построением некоего примера функции. Задача уже прочно сидела в голове и не отпускала. Это был мой первый опыт такого длительного погружения в задачу: когда в голове что-то крутится, отключаешься от всего постороннего и какие-то идеи приходят в столовой, в лифте, на улице. В дневнике отражались перепады настроения. «Взлеты и ухабы» – как я назвал это в дневнике. То восторг – получилось! Потом – нет, все же ошибся. Потом снова – эту конструкцию, кажется, можно поправить. С Меньшовым мы встречались раз в неделю после его спецкурса, а во время экзаменов в зимнюю сессию он назначал мне встречи у себя дома в Божениновском переулке недалеко от Зубовской площади. Он там жил в маленькой комнатухе, беспорядочно заставленной всякими вещами. В этой комнате он жил, кажется, от самой революции. Комнатка была в коммунальной квартире, в которой

была еще одна комната, где жила одна пожилая дама, очень строго к нему относившаяся. Она обычно после звонка открывала дверь, ведущую в квартиру, и сообщала Меньшову, что к нему пришли. В комнате он обычно сидел на кровати или присаживался к заваленному книгами и бумагами столу рядом с кроватью. Гость присаживался на второй стул, имевшийся в комнате.

К марту пример функции, интегрируемой по Берклию, но неинтегрируемой по Данжуа, у меня получился, я его записал для Меньшова, и дальше он начал очень тщательно проверять мои записи, несколько раз возвращая их мне для переписывания, требуя очень подробного обоснования каждого шага доказательства, что мне порой казалось излишним. Наконец, он мне сказал, что курсовая у меня готова, можно ее в любой момент защищать, и теперь я могу уже спокойно думать над следующими вопросами, которые вытекали из построенного мной примера функции. Защита прошла на кафедре, и вместе с Меньшовым меня слушала Нина Карловна Бари. Моя работа ей понравилась, и она сказала, что она бы меня похвалила, даже если бы это была уже дипломная работа. Меньшов посоветовал мне готовить мою работу к печати, дополнив ее сравнением с еще одним вариантом интеграла Данжуа. Поэтому летом мне предстояло продолжить изучение французского пятитомника Данжуа.

В этом же году я увидел и самого Данжуа. Он приехал на Всесоюзный математический съезд. Это был первый послевоенный съезд. Я в нем еще не участвовал и не был готов к тому, чтобы слушать на нем доклады. На съезд приехали и иностранные математики. Среди них был и Данжуа. Он приехал еще до начала съезда и прочитал цикл лекций у нас на факультете. Я на эти лекции ходил, но рассказывал он не о своих интегралах, которыми я занимался, а что-то о функциях Минковского, и мне это было не очень интересно. Но Бари просила приходить, ей было неудобно перед ним, что на его лекции собирается не очень много слушателей. Для большинства наших продвинутых студентов его тематика представлялась уже несколько старомодной. К тому же это было время весенней экзаменационной сессии. Близко с Данжуа я тогда не познакомился. Меньшов познакомил меня с ним лишь через 10 лет, когда Данжуа приезжал в Москву на Международный математический конгресс, в котором я тоже уже участвовал.

Меньшов и Бари были учениками Лузина, причем Меньшов был первым, самым старшим его учеником, а Нина Карловна относилась к более позднему, послереволюционному поколению лужинских учеников, поколению Лузитании. Я думаю, это название школы Лузина двадцатых годов изобрела сама Нина Карловна. В отличие от Меньшова, который был немного не от мира сего, она, несмотря на некоторую романтичность своей натуры, хорошо ориентировалась в современной жизни, в людях, в искусстве, и она шефствовала над одиноким Меньшовым, в том числе и в бытовых вопросах. Рассказывали, что в молодости он был влюблен в нее, но она предпочла другого математика, Немыцкого. Она была ярким и остроумным лектором. Помню, что доказав какую-нибудь теорему, она говорила: «Теперь посмотрим, какая нам от этого радость», – и переходила к обсуждению следствий из этой теоремы. Подробнее историю лужинской школы я узнавал постепенно. О ней много написано. Фактически Лузин вместе со своим учителем Егоровым явились основателями всей московской и даже всей советской математики, если исключить выходцев из более старшей петербургской школы. Почти все советские математики были или учениками Лузина, или учениками его учеников. И получилось так, что хотя сам Лузин занимался прежде всего теорией функций и теорией тригонометрических рядов, его выдающиеся ученики стали основателями научных школ в самых разных областях математики. Колмогоров заложил основы всей современной теории вероятностей, Александров и Урысон создали топологическую школу в Советском Союзе, Хинчин, у которого есть выдающиеся работы по теории вероятностей, развил также современную теорию чисел. Благодаря ученику Лузина Люстернику и ученику Колмогорова Гельфанду Советский Союз стал одним из центров развития функционального анализа – зародившегося в начале 20-го века нового направления в современной математике. Можно перечислить и еще ряд разделов математики, в который значительный вклад внесли ученики Лузина.

Сам Лузин в последние годы жизни – он умер в 1950 году – уже не преподавал в университете. Еще в 30-е годы он подвергся травле в газете «Правда», объявившей его врагом советской власти. Подшивку «Правды» с этими номерами, посвященными Лузину, в 60-е годы, в разгар хрущевской оттепели, кто-то выписал из архива в нашу мехматскую библиотеку, и я имел возможность увидеть всю эту лавину гневных писем «трудящихся», клеймивших «скрытого антисоветчика» Лузина. При этом из писем было трудно понять, в чем же он провинился. Звучали обвинения в том, что основные свои статьи он печатает за границей, проявляет научную недобросовестность, но прежде всего он обвинялся в затаенной вражде и ненависти ко всему советскому. Через несколько номеров этот поток проклятий вдруг по взмаху чьей-то руки полностью прекратился. К счастью, серьезным репрессиям он, в отличие от своего учителя Егорова, не подвергся. Но он не смог больше работать в университете, и у него уже почти не было учеников. Всего этого я, конечно, на третьем курсе не знал. Из лекций Бари я знал лишь знаменитую теорему Лузина о  $C$ -свойстве и теорему Егорова о равномерной сходимости. Кстати, Бари много сделала для сохранения памяти о Лузине и Лузитании. А вот другие его ученики, прежде всего Александров, с которым у Лузина в 30-е годы испортились отношения, оказывается, небезупречно себя вели в разгар компании против Лузина. Об этом стало известно лишь в 90-е годы, когда в архивах Академии наук нашли протоколы заседания комиссии по «делу академика Лузина». Правда, в своих очень интересных мемуарах Александров отдает должное заслугам Лузина. Он пишет: «Узнав Лузина в эти самые ранние творческие его годы, я узнал действительно вдохновенного ученого и учителя, жившего только наукой и только для нее». Но позднее, по мнению Александрова, Лузин утратил эти качества. Возможно, у Лузина был не идеальный характер, но его исключительная роль в развитии математики в России в 20-м веке не вызывает сомнений.

Несмотря на свои успехи в работе над курсовой, я все же часто возвращался к размышлениям о том, своим ли делом я занимаюсь, и это отражалось в моих дневниковых записях. Вот посмотрел в театре им. Ермоловой спектакль по пьесе Розова «В добрый час», где тема поиска своего места в жизни, своего призвания является одной из центральных, и долго рассуждал в своем дневнике о героях этой пьесы, примеряя их проблемы на себя. В театре я был в компании с группой своих однокурсников, но, выйдя из театра, отстал от своих и медленно пошел по улице Горького к метро у Дома Союзов. Пьеса, наполненная романтикой молодости, меня глубоко взволновала. Я шел, и в голове стали звучать какие-то стихотворные ритмы, к которым стал подбирать слова. Удивился, что даже рифмы подходящие выскакивали, хотя обычно с ними у меня были проблемы. Дома, записав свои впечатления о героях пьесы и актерах, я продолжил: *«Мне часто приходит мысль – является ли математика моим призванием? Эта мысль мне мешает, но беда в том, что она мне почему-то временами нравится, и я к ней снова и снова возвращаюсь. Призвание, конечно, определяется тем, что какое-то дело приносит тебе радость. Конечно, когда я погружался в задачи для курсовой, они меня не отпускали, и когда что-то удавалось сделать, это приносило удовлетворение. Но, во-первых, таких побед маловато, а во-вторых, я все же с намного большим интересом думаю об учительской работе, о писательстве, о психологии и философии, об актерской деятельности. Во всяком случае, ясно, что „людские“ дела меня очень интересуют. Быть может, педагогическая деятельность и есть та моя точка, о которой говорит Андрей в пьесе Розова? А в математику, конечно, нужно сейчас поглубже влезть. Но что дальше – не знаю. У меня были раньше мысли, что от математики надо прийти к физике, а через нее – к философии и психологии. Не знаю».*

А вот запись, сделанная летом 1956 года: *«Сегодня в „Литературке“ прочитал статью Бурова об эстетике и подумал, что вот чем я бы с удовольствием занимался. И в связи с этим опять появились мысли, чем же мне нужно заняться в жизни. Я все больше склоняюсь к тому, что заниматься математикой для меня нерационально. А чем же буду заниматься? 1. Педагогическая деятельность и педагогика. 2. Психология. 3. Литературоведение и литературная*

*критика. 4. В связи со всем этим – философия. 5. Если получится, писательство. То есть получается, что я гуманитарий. Правда, преподавать я хочу и математику. Мечтаю преподавать в пединституте. Там можно и математику, и педагогику, и все, что захочется. Ну и непосредственно в школе тоже обязательно буду работать».*

После успешной защиты курсовой мне впервые стала приходиться в голову мысль, что и после университета научная работа может занять в моей жизни существенное место и что, быть может, мне предстоит учеба в аспирантуре. Но я по-прежнему в своих размышлениях не соглашался с тем, что математика – единственное, что составит содержание моей жизни. А иногда по-прежнему склонялся к тому, что это и не главное мое предназначение. В дневнике у меня есть рассуждение о том, что после того, как надолго и глубоко погрузишься во что-то, именно это кажется самым значительным и интересным. Вот позанимался я, не отвлекаясь ни на что, своими интегралами, вжился в них, и это стало самым интересным занятием. А начнешь читать и обдумывать философскую литературу, и кажется, что самое важное – разобраться в том, как устроен мир, понять, в чем смысл жизни. Почитаешь хорошую книжку или посмотришь хороший фильм и понимаешь, что самое главное и интересное – это человеческие отношения, и самому хочется об этом писать.

Очень интересные события происходили в это время и в нашем театральном коллективе. Наконец состоялась премьера нашего спектакля «Они знали Маяковского», за которой последовало около десятка спектаклей в октябре и ноябре. На премьере было много гостей. Были Лиля Брик с Катаняном, биограф Маяковского Александр Февральский, актеры из разных театров. Мои мама и папа, и даже бабушка приезжали на спектакль. Лиля Брик после спектакля расцеловала Юру Овчинникова и сказала, что наш Маяковский и весь спектакль ей больше нравится, чем ленинградский. В другой раз на спектакле была старшая сестра Маяковского. Говорили, что на премьеру она не пришла, чтобы не встречаться с Лилей Брик, с которой у них были очень плохие отношения.

Я из своей небольшой роли выжимал все что можно и на сцене перед полным зрительным залом я вновь, как и на школьных спектаклях, получал заряд энергии, свободы, раскованности, которые не всегда появлялись во время репетиций. У меня в дневнике записано, что, разбирая спектакль, и Петров, и Катанян отметили, что я играю точно. Катаняну, как автору, нравилось, что я полностью доношу текст роли, ни слова не теряется. А Петров сказал, что мой Зайцев лучше ленинградского, там актер просто произносит слова, а здесь родился образ. В общем, сцена стала приносить мне удовлетворение и добавляла оснований для укрепления чувства уверенности в себе, поколебленного в первые годы учебы в университете. И наш театральный коллектив к этому времени превратился в большую дружную и веселую семью, в которой я тоже очень хорошо себя чувствовал, пожалуй, временами лучше, чем среди своих однокурсников. У меня появилось много близких друзей. Среди них был химик Виталик Карелин и ставший особенно преданным мне другом на долгие годы биолог Володя Шестаков. А с Виталиком наша дружба была подкреплена взаимным признанием друг в друге оснований на то, чтобы претендовать на ведущее положение в театре.

В конце ноября в нашем театре произошло важное событие, вошедшее в историю университетского театра. К нам приехал из Ленинграда и сыграл с нами в двух спектаклях Николай Черкасов. В это время Черкасов, после ролей Александра Невского и Ивана Грозного, а также фильмов «Депутат Балтики», «Дети капитана Гранта», «Весна» и многих других, считался чуть ли не главным советским актером. Он был лауреатом пяти Сталинских премий, депутатом Верховного Совета и имел кучу всяких других регалий. Так что его участие в нашем спектакле было событием не только для университета, но и для всей театральной Москвы. На спектакль было трудно попасть. Я провел маму и несколько своих друзей через сцену. Кстати, до того как стать признанным и обласканным властью актером, в 20-е годы Черкасов был замечательным комиком. Я когда-то позже видел отрывок из какого-то фильма, где он

участвует в уморительном пародийном танце «Чарли Чаплин, Пат и Паташон». Утром в день спектакля мы большой делегацией, включая Петрова и Катаняна, встречали Черкасова в аэропорту прямо на летном поле. У меня сохранился снимок, который называется «Над чемоданом Черкасова». Нам было поручено довести этот чемодан до университета в нашем университетском автобусе, а Черкасов уехал в машине отдельно от своего чемодана. С Черкасовым приехал и тоже участвовал в спектакле Бруно Фрейндлих, отец тогда еще никому не известной Алисы Фрейндлих. Во многих газетах тогда появились фотографии с этого спектакля и наши групповые снимки с Черкасовым и Фрейндлих за кулисами после спектакля. Есть снимок, на котором два Маяковских – наш Юра и Черкасов – сердито смотрят друг на друга. Наш Юра явно больше похож на Маяковского.

После «Маяковского» Петров начал репетировать с нами комедию югославского драматурга Нушича «Доктор философии». В этом спектакле Виталик играл Животу, а я брата его жены Благое. Мама говорила, что в гриме старика я напоминаю ей ее отца, моего дедушку Диму. Эта роль уже была намного богаче и интереснее моего Зайцева, больше простора для окраски всяких деталей. Репетировали мы довольно долго, и премьера состоялась лишь на следующий год, когда я был уже на четвертом курсе.



Два Маяковских: Юрий Овчинников и Николай Черкасов, 1955 год

Кроме спектаклей я часто выступал в разных концертах со стихами Маяковского или с баснями. К факультетскому вечеру, посвященному годовщине Октября, я выучил и в Актовом зале с удовольствием прочитал свой любимый отрывок из «Хорошо»: «Дул как всегда Октябрь ветрами...». Мне очень нравилось это поэтичное описание смены эпох под аккомпанемент октябрьского ветра. После этого выступления уже редкий факультетский концерт или смотр самодеятельности обходился без моего участия. Приходилось ездить на всякие шефские концерты. Был, например, концерт для строителей в Черемушках. Из окна моей комнаты в общежитии была видна эта стройка в районе пересечения будущих Ленинского и Ломоносовского проспектов. Меня стали приглашать и на университетские концерты. Однажды я вел концерт на вечере иностранных студентов и выступал на нем. В это время иностранцы у нас были только из Китая и из так называемых стран народной демократии Восточной Европы,

которые весной 1955 года вошли в состав Варшавского договора, заключенного в противовес блоку НАТО. Лишь в следующем учебном году, когда у СССР началась дружба с египетским президентом Насером, у нас появились египтяне. А в том концерте для иностранцев выступал также наш студент-первокурсник из Польши Владислав Турский, сын ректора Варшавского университета, в будущем известный польский астроном и информатик. Вскоре, после событий в Венгрии и Польше, он примет активное участие в начавшихся в университете студенческих дискуссиях и разных собраниях, выступая с резким осуждением вмешательства Советского Союза в дела этих стран.

Комсомольскими делами на курсе мне все-таки приходилось временами заниматься. Мне нравилось, что в комсомольское бюро нашего потока вошли сильные математики, включая Диму Аносова, Юру Тюрина, Володю Лина. Позднее членом бюро стал и Боря Митягин. Кстати, несколько неожиданно для меня мы с Димой обычно сходились в довольно непримиримой оценке каких-нибудь нарушений комсомольцами дисциплины, когда на бюро или на собраниях рассматривались персональные дела. Чаще всего дело возникало из-за какого-нибудь нарушения в общежитии, например, из-за картежной игры или пьянки. Однажды даже встал вопрос об исключении из комсомола. Речь шла об Олеге Мантурове. Не помню, в чем он провинился. Кажется, был какой-то конфликт с вахтерами или сотрудниками общежития, и Олег кого-то ударил. На собрании группы его исключили. Особенно решительно против него были настроены девочки, возмущавшиеся его вызывающей грубостью по отношению к однокурсникам. Мне он тоже казался неприятной личностью. На заседании бюро потока я, Дима и Юра Тюрин убедили бюро на предстоящем потоковом собрании поддержать решение группы. Партбюро факультета, которому было известно об этом скандале, тоже настаивало на исключении. Но на собрании, которое мне поручили вести, Олега, насколько я помню, все-таки не исключили, а вынесли строгий выговор. Все выступавшие его строго критиковали, и сам он каялся и осуждал свое поведение. В то время распространен был такой способ избежать большого наказания. Часто провинившийся не только сам занимался самобичеванием, но и просил своих друзей покритиковать его. Тогда у партийного начальства, отвечавшего за комсомол, было основание считать, что комсомольский коллектив все-таки «проявил принципиальность», осудил нарушение, ну а по поводу строгости взыскания могли быть разные мнения. Такие фокусы проходили, когда речь шла о бытовых нарушениях. Но когда дело касалось политики или идеологии, то тут уже снисходительность не допускалась, поскольку требование строго наказать часто исходило откуда-нибудь сверху и само местное партийное или комсомольское руководство было уже просто исполнителем и обязано было приложить все усилия, чтобы выполнить указание. Кстати, Олег в будущем стал хорошим математиком, и меня потом немного мучила совесть из-за моего, возможно, не вполне справедливого отношения к нему.

Еще одним постоянным нарушителем всяких стандартных норм у нас на курсе был Игорь Красичков. При этом он вполне открыто, но без вызова, беззлобно, с какой-то спокойной уверенностью высказывал скептицизм по поводу этих норм. Он не ходил ни на какие воскресники, у него постоянно были какие-то проблемы с выполнением заданий к занятиям по марксизму-ленинизму. Но ему я, в отличие от Олега, очень симпатизировал. Мы с ним как-то вместе оказались в фойе клуба во время танцев. Рядом оказались какие-то модные девицы вызывающего вида. Он проворчал: «Я бы таких штрафовал». Потом сказал: «Надо бы танцевать научиться». Я предложил: «Могу давать уроки танцев». Он воспринял довольно серьезно: «Правда? Давай я к тебе как-нибудь с патефончиком зайду». Меня привлекало в нем прежде всего то, что он хорошо знал английский. Когда у нас в общежитии появились студенты из Египта, я его привлек к организации встречи с ними у нас в гостиной, и он с удовольствием согласился. Он с ними и позднее много общался, удивлялся их фанатичной религиозности. Однажды сказал мне: «Меня всегда интересовало: когда Эйзенхауэр заканчивает

каждую свою речь упоминанием Бога, он в самом деле выражает свою глубокую веру или просто соблюдает принятую форму?»

Свою снисходительность к всевозможным нестандартным поступкам Игоря и даже к довольно явно антисоветским его замечаниям я оправдывал своей давней теорией, что умный человек не может, в конце концов, не понять правильности коммунистического мировосприятия. Мне по-прежнему казалось, что у умных людей антисоветские взгляды появляются из-за того, что не хватает именно умной воспитательной работы. А глупая пропаганда пусть и очень правильных идей только дискредитирует эти великие идеи, приносит больше вреда, чем пользы. В будущем Игорь, так же как и Олег, стал довольно известным математиком, профессором, работал в Башкирском филиале Академии наук. И с ним у меня, в отличие от Олега, всегда сохранялись дружеские отношения, и даже во взглядах на жизнь мы сблизились. Только не потому, что он перевоспитался, как я тогда надеялся, а потому что в моем восприятии мира что-то изменилось.

## 6. Взгляд на события в мире. Отношение к XX съезду

В моем дневнике часто встречаются записи про международные дела. Хрущев продолжал делать новые неожиданные ходы в международной политике. В Москву был приглашен канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Совсем недавно в Советском Союзе его называли не иначе как главным антикоммунистом, реваншистом и поджигателем новой войны. Только что ФРГ вступила в НАТО. Аденауэр был любимым персонажем советских карикатуристов. Это был чуть ли не главный враг нашей страны. И вдруг он в Москве! Его визит состоялся в сентябре 1955 года. Газеты сообщали, что из ФРГ на Белорусский вокзал прибыл специальный поезд, в одном из вагонов которого был оборудован рабочий кабинет, защищенный от подслушивания, для совещаний Аденауэра со своей делегацией. Аденауэру в то время было почти 80 лет. Это был, безусловно, один из самых выдающихся политиков послевоенного западного мира. Он был фактическим создателем ФРГ и основателем и председателем партии Христианско-демократический союз. Советское руководство хотело установить дипломатические отношения с ФРГ, чтобы тем самым добиться признания ГДР и легализовать создание двух Германий. Аденауэр согласился на установление отношений только в обмен на освобождение всех немецких военнопленных, несколько десятков тысяч которых все еще оставались в заключении в СССР. А признавать ГДР отказался. Отношения были установлены, и вскоре состоялся обмен послами.

Очень внимательно я следил за парламентскими выборами во Франции в январе 1956 г. У меня записано, что на этих выборах коммунисты получили 150 мест в парламенте. Социалист Ги Молле сформировал правительство и провозгласил программу установления мира в Алжире, где продолжалась борьба за независимость. В другом месте записано: *«По телевизору показали киножурнал о Париже. Чувствую симпатию к Франции. Во всяком случае, мне понравилась мысль любить Париж. Может быть, удастся когда-нибудь туда съездить. Вообще, мне кажется, что Франция скорее других западных стран окажется в коммунистическом лагере. Ведь коммунизм так подходит этой свободолюбивой стране. Хочется передать французам, что мы очень любим вашу страну за ее героическое прошлое и верим, что у нее будет прекрасное коммунистическое будущее».*

Следил я и за зимними Олимпийскими играми в Италии, в Кортино д'Ампеццо, в конце января – начале февраля 1956 года. Это были первые зимние игры, в которых выступала советская команда. Так же как и летние игры в Хельсинки, я их воспринимал прежде всего с точки зрения их политического звучания. И я с восторгом записывал, что наши хоккеисты стали олимпийскими чемпионами и что наша команда стала первой в медальном зачете.

У меня в дневнике есть еще одна характерная для моих тогдашних взглядов на мир запись, касающаяся Вашингтонской декларации Президента США Эйзенхауэра и тогдашнего премьер-министра Великобритании Идена, который незадолго до этого сменил подавшего в отставку Черчилля. Декларация касалась политики на Ближнем Востоке в связи с начавшимся Суэцким кризисом. После революции в Египте западные державы все более теряли контроль над каналом и опасались усиления советского влияния на президента Насера, который в это время заключил соглашение о поставках в Египет советского оружия. В советских газетах Вашингтонская декларация была перепечатана. В это время советская печать стала иногда полностью публиковать некоторые материалы из западной прессы. Это было непривычным новшеством. И вот интересна моя реакция на этот текст. Мне понравилось, что декларацию опубликовали. Я записал, что нашим читателям очень полезно ее прочитать, так как трактовка в ней нашей политики показывает, что они нас совсем не понимают. И их доводы

просто смешны. Не помню, что меня так рассмешило. Видимо, декларация отражала обычный для того времени взгляд Запада на наши действия и опасения по поводу этих действий. Но взгляд на нас со стороны и сам язык, которым на Западе выражали отношения к нам, были настолько необычными по сравнению с привычным языком советской пропаганды, что я был просто не в состоянии не только принять, но и понять западную точку зрения. Западных станций я тогда не слушал, тем более что их передачи на русском языке глушились. Радиоприемник у нас дома появился чуть позже, когда я начал интенсивно заниматься английским. Но в общезнании, кажется, у кого-то был приемник. Во всяком случае, осенью этого года, когда начались венгерские события, многие из моих соседей узнавали новости раньше, чем о них сообщалось в советской печати.

В феврале 1956 года начался XX съезд КПСС. Я, конечно, внимательно следил за всеми материалами съезда, и вначале заседания съезда они не предвещали ничего сенсационного. В дневнике у меня записано, что в отчетном докладе Хрущева есть интересные моменты. Отмечена еще оригинальная речь Микояна о коллективности руководства. На нашем факультете еще до окончания съезда в большой аудитории на 16-м этаже был организован митинг, посвященный съезду. Такие митинги по одобрению политики партии проводились на всех предприятиях и во всех учреждениях. Секретарь нашего парткома – тогда им был профессор Москвитин – попросил меня выступить от студентов. Никаких серьезных сомнений по поводу того, что тогда происходило на съезде, у меня в этот момент не было, и я выступил в своем обычном стиле, призывая всех сплотиться вокруг партии для достижения великих целей. Лишь через пару недель секретный доклад с осуждением культа личности Сталина, который Хрущев произнес на закрытом заключительном заседании съезда, зачитали у нас на партсобрании. При этом никаких обсуждений не предполагалось. Вскоре его стали читать и на открытых собраниях. В школе, где работали мама с папой, его прочитали для всех учителей. У себя в дневнике я в тот момент почему-то никаких комментариев не оставил. Не помню своих эмоций по поводу доклада.

Но уже в конце марта в записях у меня появляются сомнения: *«Все-таки какие-то неточности допущены ЦК, что-то тут недодумано. Нельзя было так швыряться авторитетом Сталина. Дело в том, что с именем Сталина – так уж укрепилось в сознании людей – связаны большие и высокие идеалы, принципы. И нужно делать так, чтобы при критике ошибок Сталина эти принципы советской морали остались на высоте во всей их кристальной чистоте. Тут нужно очень продуманно действовать».*

Моим соседом по общежитию в это время был Зелик Малей, и мы с ним часто разговаривали о политике. Он был одним из самых старших у нас на курсе и до поступления в университет прожил довольно богатую событиями жизнь, в том числе отслужил в армии. Родился он и провел свое детство и юность в Черновицах (так именовались тогда Черновцы), входивших до 1940 года, до передачи Бессарабии и Северной Буковины Советскому Союзу, в состав Румынии. Черновицы тогда были одним из центров еврейской культуры. Он рассказывал, какое впечатление производили на него советские фильмы, которые иногда можно было увидеть в Румынии, и советские песни 30-х годов. Советский Союз представлялся ему в детстве далекой и заманчивой страной. Зелик соглашался со мной, что критика Сталина сильно осложнит позиции друзей Советского Союза за рубежом.

В эти же дни после разговоров с кем-то из однокурсников я записал: *«Чувствуется всюду у людей неравнодушных желание сгладить, смягчить впечатление от доклада. И наоборот, люди с шаткими взглядами усиленно раздувают это дело, смакуют. Так что все-таки неточности есть во всем этом деле».* В дневнике также с осуждением отмечено, что на первомайской демонстрации, которую я на этот раз наблюдал по телевизору, я заметил только один портрет Сталина. У меня в это время люди, которые выражали сомнение в правильности курса на критику Сталина, сразу вызывали симпатию. А таких было немало. В это же время и Хрущев

стал делать шаги назад в критике культа. В постановлении ЦК, принятом в июне, уже говорилось о Сталине как о выдающемся деятеле, преданном делу социализма, но злоупотреблявшем властью и совершавшем ошибки. «Отдельные ошибки и недостатки казались на фоне громадных успехов менее значительными. Эти ошибки нанесли ущерб развитию отдельных сторон жизни Советского государства, особенно в последние годы жизни И. В. Сталина, развитию советского общества, но, само собой разумеется, не увели его в сторону от правильного пути развития коммунизма». В университет приезжал секретарь ЦК Шепилов и в своем выступлении на собрании партактива в актовом зале говорил о перегибах в борьбе с культом личности. Мне Шепилов очень понравился, показался вполне интеллигентным человеком. Он вскоре был назначен министром иностранных дел, сменив Молотова. В июне 1956 года в Москву приехал Иосип Броз Тито. Это был его ответный визит на визит в Югославию Хрущева с Булганиным. 6 июня Тито был в университете и выступал в Актовом зале. Зал был переполнен. Помню, что мне пришлось сидеть на ступеньках недалеко от сцены. Но слушал я его с предубеждением. Меня раздражало то, что он много говорил о суверенитете, уважении взаимной независимости стран и компартий, о политике неприсоединения и не стремился вернуться в единый социалистический лагерь.

Очень бдительно я следил и за тем, чтобы литература и искусство не сбились с пути истинного. Хотя в это время я посмотрел много до того неизвестных мне западных фильмов, я все же более ревностно следил за нашими новыми фильмами, оценивая, насколько они отвечают тем требованиям, которые я тогда все еще предъявлял любому искусству, – совершенствовать, воспитывать человека. В моих записях упоминаются фильмы «Разные судьбы», один из самых популярных фильмов тех лет «Весна на заречной улице» с Николаем Рыбниковым, «Испытание верности» с Ладыниной. В фильме «Убийство на улице Данте» Михаила Ромма впервые на экране появился Михаил Козаков, а в эпизодических ролях также Валентин Гафт и Инокентий Смоктуновский. В январе 1957 года я посмотрел «Карнавальную ночь» Эльдара Рязанова с юной Людмилой Гурченко. Особенно сильное впечатление произвел на меня фильм о целине «Первый эшелон». Я влюбился в Изольду Извицкую, сыгравшую в этом фильме главную роль. «Умная страсть», – так я охарактеризовал чувства ее героини.

В это же время появился еще один фильм о целине – «Это начиналось так». Он мне меньше понравился, но сама тема целины меня очень волновала. Она тогда была одной из центральных и в телевизоре и в газетах. И когда в начале июля 1956 года на целину отправились первые студенческие отряды из МГУ, я очень сожалел, что с нашего факультета туда отправили не наш курс, а второкурсников. Я записал в дневнике: *«Жаль, что нельзя успеть во все окунуться в жизни»*. Но по крайней мере я поучаствовал в проводах целинников. Недалеко от университета, за Ломоносовским проспектом, там, где сейчас находится здание библиотеки, проходила тогда железнодорожная ветка, сохранившаяся со времен строительства МГУ. На эту ветку и подали 4-го июля эшелон из товарных вагонов с нарами для направлявшихся в Казахстан студентов. Около эшелона собралась огромная толпа, смешались отъезжающие и провожающие. Мне очень нравилась праздничная атмосфера проводов. Кроме того, я воспринимал этот эшелон как событие, которое войдет в историю. В дневнике я записал: *«Я уже в 2 часа побывал около эшелона, узнал, что отправление назначено на 4 часа. Вернулся в университет, где сегодня последние заседания Всесоюзного Математического съезда. Оказывается, там заключительное заседание тоже в 4 часа Я все-таки пошел проводить эшелон. Иду через проходную зоны В, а там вахтерша не выпускает двух наших второкурсниц с чемоданами, требует пропуска на вынос чемоданов. А они тоже спешат к эшелону. Они меня знают, попросили помочь. Спорить с вахтершей бесполезно. Я побежал к эшелону, увидел Колю Розова. Мы с ним нашли начальника охраны. Он дал записку – пропускать отъезжающих на целину без пропуска на вещи. Я побежал назад. Но девочки уже прошли. Я все же отдал записку вахтерше. Помог девочкам дотащить до эшелона чемодан и рюкзак. Там уже куча народу. Сно-*

вали репортеры с кинокамерами. Я прошелся вдоль эшелона. Разные факультеты группировались около своих вагонов. Поют биологи, недалеко географы. С нашего факультета кроме второкурсников поехало несколько человек с нашего курса: Вовка Кайсин, Шманенков, Рудой. В 4 поезд тронулся. Потом остановился и еще несколько раз останавливался. Подбежали опоздавшие, залезли в свои вагоны. Наконец, поезд пошел быстрее. В вагонах запели. Махали провожающие. Эшелон ушел. Провожающие расходились не спеша. Я стал их разглядывать. В основном, видимо, родители, поколение, юность которого прошла в период строек 30-х годов. И вот передают эстафету. Одна простая женщина, похожая на уборщицу из нашего общежития, стоит немного растерянная, глаза слезятся. Видимо, кого-то проводила, и вот теперь она лично прикоснулась к чему-то большему, чем ее личная жизнь. Теперь она и другие проводившие своих детей или друзей будут слушать по радио о покорении целины и знать, что это дело их лично касается. Они включились в общее дело страны. И это главная черта нашей жизни – общие цели, которыми живут миллионы. Все меньше становится равнодушных. И дорога в будущее идет через сплочение всех людей вокруг великих общих целей».

Я видел, что обсуждение доклада Хрущева явно подрывает такое сплочение, поэтому и сам доклад вызывал у меня тревогу. Мои сомнения в правильности курса на разоблачение сталинизма сохранялись еще долго, в течение нескольких лет. Дело было не столько в самом сталинизме, сколько в беспокойстве по поводу того, что вся эта кампания по разоблачению культа собьет людей с толку, подорвет веру в правильность наших целей, затормозит движение к коммунистическому будущему, в котором будет достигнуто единство всех народов и стран. Именно в достижении этого счастливого единства всего человечества я по-прежнему видел основную цель коммунизма и основную миссию нашей страны. Самым показательным примером моей неготовности поставить под сомнение эту миссию и вообще пересмотреть свой взгляд на мир явилось мое отношение к событиям в Венгрии осенью 1956 года и к вводу наших войск для подавления венгерского восстания. Вот записи тех дней:

«26 октября. 12 ночи. Завтра продолжение моего доклада на семинаре Меньшова. Надо готовиться и еще пример с интегралом Бокса придумать. Но из-за обилия мыслей, а вернее, чувств, навеянных последними новостями, решил отвлечься от дел и записать. В Венгрии восстание, все началось 23-го вечером, и сегодня еще вспыхивают бои. По радио произнесли тревожащую фразу: правительство контролирует ситуацию. Там, кстати, премьером на днях стал Надь, а сегодня генеральным секретарем партии стал Янош Кадар – не знаю, кто это. В Польше тоже беспокойно. Там генсеком сейчас стал Гомулка. Все эти события очень волнуют. Мне кажется, ничего этого не было бы, если бы не затеяли игру в либерализацию в связи с критикой культа личности. Это явно сбilo с толку многих неустойчивых. И не рано ли отказались от сталинского тезиса об обострении классово-борьбы вместе с победами социализма? В общем, это показывает, что нужна еще колоссальная работа для того, чтобы массы прониклись идеями коммунизма, прочувствовали его. Ясно, что мятеж в Будапеште указывает на крупнейшие промахи власти не только на государственном уровне, но, пожалуй, прежде всего по части идеологической работы. Сегодня на семинаре по диамату Боря Левшенко бросил фразу: „Где гарантия, что коммунизм не перестанет служить прогрессу, как это случилось с другими революционными течениями во времена буржуазных революций?“ В общем, вот даже у нас в стране коммунизм не стал еще кровавым делом. Люди понимают все умом, но не трогает их особенно-то коммунизм. Видимо, дело в том, что у них свои жизненные цели не связаны как-то с коммунизмом. Вот почему у меня, когда думаю о коммунизме, когда серьезно думаю, то где-то внутри – в сердце, в душе – не знаю где, какое-то волнение происходит, и готов драться с теми, кто против. Думаю, потому, что все мои идеалы, мое представление о будущем, жизненные цели связаны с коммунизмом. То есть получается, что воспитание надо направить на то, чтобы у человека мечты, личные цели в жизни

*переплелись с построением коммунизма. Это нужно делать прежде всего в школе, когда цели формируются. И искусство должно в этом помогать. Вчера вечером Саша Дынин собрал компанию на сгущенное молоко, которое ему из дому из Ленинграда прислали. Кроме меня был Боря Панеях, Барабанов, Сашин сосед Оскар. Сидели до двух ночи. Мы с Сашей затеяли философские разговоры. Поспорили об эволюции и развитии чувств в будущем. Я даже предложил Саше открыть в общежитии кружок по философии под его руководством».*

Вскоре после этого мы еще раз собирались у Саши, отмечали его день рождения. Я ему подарил двухтомник Фейрбаха и надписал: «Дорогому Саше, глубокому мыслителю с тонкой и нежной душой». Он тотчас меня отдалил томиком Герцена «Письма об изучении природы». Тут тоже не обошлось без философских разговоров. Разговаривали в ожидании прихода Милы Каролинской, в которую Саша был влюблен. Мы с Борисом Митягиным пошли за ней. Она только что приехала откуда-то и еще была не готова. Постепенно вся компания перебралась к Милке, и тут тоже продолжались разговоры. Наконец, и Саша пришел и всех вместе с Милой увел к себе. Мне запомнился Сашин тост во время застолья: «За внутреннюю гармонию!» Интересно, что именно с Сашей мы тогда сошлись в оценке венгерских событий.

В это время лекции по политэкономии нам читал Артемий Александрович Шлихтер. Он же вел и семинарские занятия в нашей группе. Его отец был наркомом земледелия в правительстве Ленина и сам он был членом партии со времен гражданской войны. Студенты мехмата его очень любили, и это была взаимная симпатия. Он резко выделялся среди других преподавателей общественных дисциплин полной свободой своих суждений, открытостью для любых вопросов и обсуждений, да и просто умом. Конечно, он был убежденным коммунистом, но свои убеждения он считал нужным обосновывать. Свои лекции он всегда связывал с текущей политикой. И в эти дни венгерских событий он много говорил о них и на лекциях и на семинарских занятиях. 29 октября я записал:

*«Сегодня Шлихтер уделил почти весь первый час занятий событиям в Венгрии. Он молодец! Сказал: „Эти события ясно показывают, что какие бы формы перехода к социализму ни были, нужна твердая государственная власть, твердая диктатура пролетариата“. Дальше была лекция Куроша. Я ушел со второго часа. Не мог высидеть, лезут всякие мысли, связанные с Венгрией. И пример к интегралу Бокса для семинара Меньшова висит надо мной совсем некстати. Не могу математикой заниматься. Все время отвлекают вещи, которые мне кажутся важнее. Счастье тех, кто может, пусть они и занимаются. Бесит идиотизм, который привел к Венгрии. Вздумали поиграть в демократию. Главный грех – отступление от интернационализма. Ведь интернационализм – главное в коммунизме».*

Между тем новости о событиях в Венгрии становились все более тревожными. Меня бесило отсутствие сопротивления наступлению контрреволюции. У нас в главном здании университета при переходе из общежития в главное здание был газетный киоск, и там кроме советских газет продавались газеты из социалистических стран. После примирения Хрущева с Тито там стала продаваться и югославская газета «Борба». Я ее иногда покупал и пытался там что-то понять, когда там сообщалось о событиях, о которых у нас умалчивалось или говорилось не очень ясно. Что-то новое можно было узнать и из польских газет. В эти дни у киоска по утрам собиралась очередь, в основном из иностранных студентов. В ожидании газет они обменивались новостями, что-нибудь горячо обсуждали. Помню какого-то иностранца, который горячо что-то доказывал на ломаном русском языке, выкрикивая: «Это уже фашизм настоящий!» Ему возражали, а он: «Но об этом и „Борба“ писала». Наши иностранцы из разных стран между собой общались в основном по-русски. Я даже помню одну смешанную супружескую пару в общежитии, он албанец, она, кажется, болгарка, которые между собой разговаривали по-рус-

ски, а их маленькая дочка говорила на трех языках, к каждому из родителей обращаясь на их языке, а ко всем остальным – на русском.

Поздно вечером 3 ноября я зашел в общежитии в гостиную, где группа ребят с нашего курса собралась вокруг Вити Шебеко у рояля, пели под его аккомпанемент. Просидели до трех ночи. И там Володя Левенштейн сказал мне, что в последних известиях по радио сообщили недавно, что в Будапеште контрреволюция бесчинствует, уже повесили кого-то из коммунистов. «В общем, – заключил он, – Венгрия уже не социалистическая страна». А вот что записано у меня в дневнике на следующий день, в воскресенье, 4 ноября:

*«Встал поздно. С утра ходил взволнованный. В 2 часа зашел к Саше Дынину за учебником по педагогике. Поговорили, и вдруг по радио в известиях: в Венгрии образовано революционное рабоче-крестьянское правительство во главе с Яношем Кадаром. Наконец-то! Изложили программу правительства. Не совсем там все гладко, но основное есть. И в конце – обращение к советским войскам за помощью в борьбе с контрреволюцией. Через час еду в лифте из столовой. Кто-то сказал, что только что передавали по радио „В последний час“. Я понял, что что-то новое. Пришел домой, и Толя сказал, что по радио передали, что сегодня утром в Будапеште контрреволюция в основном подавлена. Не знаю, пройдет ли дальше все гладко, но пока утешительно. А между тем Египет продолжают бомбить, и, кажется, уже высадились сухопутные англо-французские войска».*

На самом деле ожесточенные бои в Будапеште продолжались еще несколько дней. О них в наших новостях говорилось мало. Не сообщалось и о жертвах этих боев, которых было несколько тысяч. Но если бы я и знал тогда об этих жертвах, я бы сказал, что это враги, которые понесли заслуженное наказание. Это были какие-то абстрактные враги дорогой мне идеи, с которой я был очень сильно эмоционально связан. Я помню, что когда в комнате Саши я сказал свое «наконец-то!», там был кто-то еще. И этот третий человек стал что-то мне возражать и призвал на помощь Сашу, а Саша сказал: «Нет, мне все же ближе Валькина позиция». И сейчас, вспоминая это, я, пожалуй, больше, чем своим, удивляюсь Сашиным оценкам ситуации. Он был человеком далеким от политики, от комсомольских дел. Но, видимо, у него, с его склонностью к несколько романтическому философствованию, сложилось, так же как у меня, некоторое абстрактное представление об окружающем мире и о путях его развития. И в этом абстрактном мире нам нравились какие-то не менее абстрактные идеи и ценности, которые мы приняли прежде всего на эмоциональном уровне, и нам очень хотелось, чтобы мир развивался по нашей схеме.

Надо сказать, что мое недовольство тем, как Хрущев проводит линию на критику Сталина, стало, как то ни парадоксально, существенным шагом в направлении освобождения от догматизма. Мне хотелось защищать какие-то из сталинских догм, но ведь в результате этого получалось, что я тем самым выступаю против линии партии. Если в школе после смерти Сталина я считал своим долгом прилагать усилия, чтобы поднимать авторитет нового советского руководства, то теперь мне все чаще хотелось критиковать то, что делает Хрущев. Вообще Хрущев со своей импульсивностью, непоследовательностью, косноязычием был благодарным объектом для критики, и это в период оттепели немало способствовало развитию свободомыслия. Причем эта готовность не соглашаться с партийными установками зрела как в консервативных кругах, недовольных тем, что Хрущев «подрывает основы», так и в кругах либерально настроенной интеллигенции, стремящейся к большей свободе в общественной и культурной жизни.

Первое, из-за чего я активно восстал против официальной линии партии, было отношение к генетике. В биологии тогда господствовал академик Лысенко, и генетика объявлялась реакционной буржуазной наукой. У нас на мехмате в это время я ходил на семинар по кибер-

нетике, который вел Алексей Андреевич Ляпунов. Первые занятия семинара носили характер лекций Ляпунова. И на первых же лекциях он стал увязывать кибернетику с генетикой. В сталинское время с кибернетикой боролись так же, как и с генетикой. Еще в изданном в 1954 году философском словаре она охарактеризована как лженаука, проповедующая идеалистические взгляды и направленная против материалистической диалектики и марксистского, научного понимания законов общественной жизни. Книги отца кибернетики Норберта Винера были под запретом. Но такое отношение к кибернетике тормозило развитие вычислительной техники. Советским математикам и военным инженерам, среди которых были ученики Ляпунова, преподававшего тогда в Артиллерийской академии, как-то удалось внушить партийному руководству, что мы сильно отстаем от Запада в применении электронных вычислительных машин в промышленности и в военном деле и, чтобы преодолеть отставание, нужно развивать и теоретические разработки в этой области, чем и занимается кибернетика. В результате этих усилий в 1955 году произошла реабилитация кибернетики в СССР. В журнале «Вопросы философии» вышла статья Ляпунова в соавторстве с академиком Соболевым и руководителем вычислительного центра Министерства обороны Китовым, в которой говорилось, что наши философы допустили серьезную ошибку, отвергнув новое направление в науке. В этом же году при кафедре вычислительной математики мехмата был организован вычислительный центр. Его директором стал наш доцент Иван Семенович Березин, ставший позднее профессором, и одним из организаторов факультета вычислительной математики и кибернетики, отделившегося от мехмата. На партийных собраниях мехмата в это время несколько раз обсуждалась необходимость ускоренного развития вычислительной техники. Помню смешную, но знаменательную оговорку в докладе нашего секретаря партбюро, который, говоря о необходимости развития кибернетики, произнес: «Кибернетика у нас долгое время считалась лженаукой. К сожалению, это оказалось неправдой».

Но с генетикой получилось сложнее. Борьбу за ее реабилитацию пришлось вести еще долго, до самого конца правления Хрущева. Так же как в свое время Сталина, Лысенко обольщал Хрущева обещаниями невиданных урожаев новых сортов пшеницы и небывалых удоев от выведенных им пород крупного рогатого скота. И теперь, когда кибернетику удалось спасти, Ляпунов решил использовать лекции по кибернетике для того, чтобы рассказывать о генетике и бороться за нее. В школьных учебниках тогда высмеивался менделизм-морганизм, доказывалась бесполезность генетики, в отличие от нацеленного на практическое применение мичуринского учения Лысенко. В качестве доказательства оторванности генетики от жизни использовалось то, что генетики все свои эксперименты проводят на бесполезных мушках дрозофилах. Помню, что для иллюстрации бессмысленности того, чем занимается генетика, какие-то юмористы приводили фразу из книг по генетике: «Рецессивная аллель влияет на фенотип, только когда генотип гомозиготен». Для человека, незнакомого с генетической терминологией, это звучит как абракадабра. На самом деле все эти слова имеют в генетике четкое определение, и фраза представляет собой один из важнейших законов генетики. Поскольку в основе генетики лежат простые математические закономерности, математиков было очень легко очаровать генетикой. На семинар Ляпунова прибегали и биологи. Я приводил на семинар свою подружку по театру Валю Макарову с биофака. Биологи знали о Ляпунове по громкому делу сестер Ляпуновых, дочерей Алексея Андреевича. Они были студентками биофака, и Ляпунов для них и для их друзей устроил у себя дома кружок по генетике. Об этих занятиях стало известно парткому, и на биофаке на комсомольском собрании было поставлено персональное дело сестер по поводу их участия в этом «подпольном кружке». Партком настаивал на исключении их из комсомола, но собрание ограничилось лишь строгим выговором. К самому Ляпунову у нас на мехмате партком тоже приставал, но он, хотя и был членом партии, на партийном учете состоял не у нас, а в Математическом институте при Академии наук, который был основным местом его работы.

Я тогда об этих событиях на биофаке подробностей не знал, но лекции Ляпунова воспринял с энтузиазмом и считал своим долгом всеми силами проповедовать генетику. В театре у нас, кроме Вали Макаровой, была еще одна студентка с биофака. Она верила в теорию Лысенко и отвергала вейсманнизм-морганизм. Я занялся ее перевоспитанием, сумел зародить в ее голове сомнения, а потом она позвала меня прийти к ним на биофак на какой-то учебный семинар. Я пришел, перед семинаром подошел к их преподавателю, ярому лысенковцу, сказал, что я с мехмата, но очень интересуюсь биологией, и попросил разрешения поприсутствовать на семинаре. Он с усмешкой разрешил. На семинаре обсуждались какие-то вопросы, имеющие отношение к естественному отбору. В какой-то момент я попросил слова и стал объяснять, как это все просто выглядит с точки зрения генетики. Студенты с интересом слушали. Их больше занимало не то, о чем я говорю, а сам факт того, что об этом открыто говорится. Вообще-то на биофаке было много скрытых сторонников классической генетики. Например, моего друга Володю Шестакова, тоже с биофака, мне перевоспитывать не пришлось. Он учился на кафедре биохимии, и там они уже сами во многом разбирались, но не могли публично в этом признаться. Однажды докладчиком на семинаре Ляпунова был Тимофеев-Ресовский, известный генетик, работавший до войны и во время войны в Германии, а после войны арестованный НКВД и прошедший несколько лет в лагерях. К этому времени он был уже реабилитирован, работал в Свердловске и активно участвовал в борьбе с лысенковщиной. Кстати, позднее судьбу Тимофеева-Ресовского описал Даниил Гранин в своем романе «Зубр».

Еще один доклад на семинаре Ляпунова сильно повлиял на мои взгляды. Это был доклад Полетаева, соратника Ляпунова по борьбе за кибернетику. Полетаев рассказывал о своей книжке «Сигнал», которую он в это время писал и которая вскоре после этого вышла. Мне из его доклада особенно запомнились разные рассуждения о философских аспектах кибернетики. Почему-то особое впечатление на меня произвела показавшаяся мне откровением фраза о том, что в науке, да и в природе не имеет смысла вопрос «зачем?», а осмысленным является лишь вопрос «почему?». Эта мысль привела меня к важному выводу о том, что некоторые проблемы, которые тебя мучают, решаются, так сказать, снятием этой проблемы, то есть осознанием того, что такой проблемы просто нет, она не имеет смысла или неправильно поставлена. Например, еще в школьные годы я мучился вопросом о смысле жизни человека, понимая под этим поиски смысла, данного где-то вне меня и от меня не зависящего. Религиозная трактовка смысла жизни меня, конечно, не устраивала, да мне и не приходило в голову думать в этом направлении. Я просто надеялся найти какое-то философское обоснование тех жизненных целей, которые меня вдохновляли, хотел видеть их заданными самой природой мироздания. Теперь я понял, что смысл своей жизни человек определяет для себя сам. И еще одну важную вещь я понял в ходе этих своих философских размышлений. Я понял, что, стремясь что-то понять, мы не всегда четко осознаем, а что это значит – понять. Какое объяснение нас удовлетворит? Как правило, хочется свести непонятное к чему-то привычному. Но ведь привычное – необязательно понятное. В каком же случае мы о чем-то можем сказать «понял» и не обманываем ли мы себя, когда так говорим?

Полетаев через несколько лет стал известен еще тем, что оказался невольным катализатором бурной дискуссии в конце 50-х – начале 60-х годов о «физиках и лириках». В помещенном в «Комсомольской правде» отклике на статью Эренбурга о необходимости гармоничного развития личности Полетаев написал какую-то фразу о том, что в нашу эпоху нужны прежде всего люди, живущие творческим разумом, а не чувствами. Заметка Полетаева вызвала поток негодующих писем в защиту «чувств», а через несколько дней Борис Слуцкий опубликовал в «Литературной газете» свое знаменитое стихотворение «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне», которое подлило масла в огонь. Надо сказать, что в эпоху оттепели прежде всего именно «физики», распространив свою борьбу за свободу творчества в науке на другие

сферы, оказались основными борцами за свежий ветер в общественной жизни и в искусстве, в то время как консерваторы часто выступали от имени «лириков».

Я тут забежал немного вперед. А той осенью 1956 года я следил прежде всего за международными событиями. Параллельно с событиями в Венгрии, как я уже упоминал, начался Суэцкий кризис. Еще летом Насер объявил о национализации Суэцкого канала, который до этого по соглашению с англичанами считался международным водным путем. Англия и Франция попытались силой восстановить свой контроль над каналом и обеспечить свободу судоходства. К ним присоединился Израиль, опасавшийся агрессии со стороны вооружавшегося с помощью Советского Союза Египта. Военные действия начались с внезапного вторжения израильских войск на Синайский полуостров, а английская и французская авиация начала бомбить египетские военные базы. 5 ноября израильские войска, почти вплотную подошедшие к каналу, были поддержаны высадкой англо-французского воздушного и морского и практически овладели каналом. Для Советского Союза все эти события были очень выгодны, так как отвлекали Запад от наших действий в Венгрии. В Москве были организованы манифестации протеста около английского и французского посольства. Видимо, идея у нашего руководства была в том, чтобы ответить на массовые протесты против нашего вторжения в Венгрию около советских посольств в западных странах. Впрочем, в нашей прессе об этих протестах ничего не сообщалось. Меня вызвали в партбюро и поручили срочно собирать народ в общезжитии и направлять к посольствам Франции и Англии. Людей я собирал, нажимая на этажах кнопки вызова на пульте дежурной по этажу. Одновременно в комсомольском бюро спешно писали плакаты с лозунгами, осуждающими агрессию. Не помню, сколько мне удалось собрать народу, но у французского посольства, куда я подъехал, была уже довольно большая толпа. Скандировали: «Руки прочь от Египта! Позор агрессорам!» На окна посольства демонстранты наклеивали всякие плакаты с текстом, обращенным внутрь здания. Свет в посольстве погасили, и никаких признаков жизни в посольстве не было заметно. Побыв тут некоторое время, я решил посмотреть, что творится около английского посольства. Пошел пешком вдоль Большой Якиманки (тогда это была улица Георгия Димитрова) и дошел до Софийской набережной. Там у посольства тоже была большая толпа. Ограда была завешана разными лозунгами. В отличие от французского посольства, тут в посольстве были люди. С балкона кто-то фотографировал толпу. Такого сорта демонстрации у посольств были для Москвы в диковинку, и хотя люди, пришедшие сюда, были специально направлены сюда партийными и комсомольскими организациями разных предприятий, институтов, но атмосфера была непринужденная. Все же какой-то элемент спонтанности, раскованности во всем этом был. И мне это нравилось. К манифестантам присоединялись случайные прохожие. Было много молодежи.

На следующий день, 6 ноября, у нас даже сократили занятия, чтобы мы снова пошли к посольству. Но я не пошел, мне надо было записать одну свою теорему к встрече с Меньшовым, которая была назначена на этот вечер у него дома на Зубовской площади. После встречи с Меньшовым подошел все-таки к французскому посольству. Там уже никого не было, остались только следы на окнах от отодранных плакатов. Но к этому вечеру в Египте уже вступило в силу соглашение о прекращении огня. Несмотря на фактическое поражение в этой короткой войне, Египет в результате ее очень укрепил свои позиции на Ближнем Востоке, да и во всем мире, стал лидером арабского мира. Большинство стран осудило действия Англии, Франции и Израиля. В том числе и США вынуждены были отказаться от поддержки своих союзников. Из Египта вскоре были выведены все вторгшиеся туда войска, в ответ на что Насер теперь гарантировал всем кораблям право свободного прохода через Суэцкий канал. Советский Союз, активно поддержавший Египет, тоже значительно укрепил свое влияние на Ближнем Востоке. Насер стал одним из главных наших союзников, и через несколько лет Хрущев даже присвоил ему звание Героя Советского Союза. Именно в эти годы у нас в университете появились египетские студенты, о чем я уже упоминал.

## 7. Политика пришла на мехмат

Этой осенью мои записи в дневнике стали более подробными и более регулярными. Если в первые два года учебы в университете на все записи мне хватило одной толстой тетради, то теперь я исписывал по одной такой тетради за каждые 3—4 месяца. На третьем и особенно четвертом курсе у меня учебные дела стали требовать меньше усилий, все шло достаточно гладко, и появилось больше времени на всякие отвлеченные размышления и на довольно подробные дневниковые записи. Есть даже запись про сами эти записи. Я критикую себя за то, что раньше из-за нехватки времени записывал только перечень голых фактов без сопровождавших эти события размышлений, и поэтому читать эти записи неинтересно и не помогают они вспомнить сами события. Получались, как я сказал про такие записи, «отписки». Но и своими более детальными записями я был не очень доволен. Мне не нравилось, что у меня не получается записывать сам процесс размышления. Вот меня взволновало, захватило какое-то событие, какая-то мысль, я начинаю ходить, думать, или по вечерам уже в кровати перед сном мысли крутятся. А потом я заставляю себя записать эти мысли. И получается, что процесс записи — это просто нагрузка, которую я на себя накладываю и которая часто угнетает и отнимает время. Поэтому даже подробная запись не отражает всего разнообразия мыслей и тем более эмоций, которые сопровождали процесс размышлений. К тому же до дневника я обычно добирался лишь поздно ночью и иногда не дописывал, начинал засыпать прямо в процессе записи.

В этом году большая часть отраженных в дневнике мыслей и переживаний так или иначе связана с политикой. Хотя я в это время слушал довольно много спецкурсов, регулярно встречался с Меньшовым и приносил ему разные свои результаты по интегралам, но все это казалось мне менее важным, чем волновавшие меня события, сначала международные, а потом и у нас в университете. Вскоре после Венгрии политика пришла и на наш факультет. 15 ноября на партийном собрании факультета секретарь нашего партбюро Сагомоян в своем докладе рассказал о стенгазете «Литературный бюллетень», изданной группой наших студентов. Я на собрание опоздал, задержали какие-то учебные дела, и сам доклад я не слышал. Но мне рассказали, что партбюро настаивает на исключении всех членов редколлегии этой стенгазеты из комсомола и из университета, потому что статьи в газете носят антисоветский характер. Газету уже сняли. Среди авторов и редакторов этой газеты были названы студенты-пятикурсники Белецкий, Вайнштейн, Полюсук, аспирант Волконский и Стоцкий с нашего курса. На самом деле несколько выпусков этого «Литературного бюллетеня» выходило и раньше. Я помню, что какие-то статьи, посвященные живописи, я там читал. Но этого последнего номера, который провисел только два дня, я не видел. Из выступлений на собрании и из того, что мне рассказали, я понял, что там была статья Стоцкого, где что-то положительное было сказано о Троцком и было перепечатано выступление Паустовского на каком-то обсуждении книги Дудинцева «Не хлебом единым». На собрании все выступавшие поддерживали предложение партбюро.

Меня все это очень взволновало. Меня раздражали выступления наших коммунистов-механиков, которых я считал твердолобыми консерваторами или просто дураками. Активничал там Павленко. Помню, на каком-то другом собрании он произнес озлобленно: «Любят на мехмате такое слово — талантливый. И за это все прощается». Но и люди, которых я уважал, такие как Володя Карманов, Рая Надеева — недавние комсомольские секретари факультета, тоже выступали за исключение. Володя, правда, призвал не исключать всех одних махом, разобраться в роли каждого из участников редакции, а Рая сказала, что все это дело показывает, что не умеем разговаривать с молодежью. Из ребят, которых обсуждали, я немного знал только Стоцкого и Волконского. Про Стоцкого я помнил, что он участвовал в нашем шефстве над первым курсом, и недавно сказал, что надо бы к первокурсникам послать Шлихтера, чтобы он рассказал им про события в Венгрии. Я запомнил понравившуюся мне его фразу:

«Вот Шлихтер бы объяснил, а остальные все дубы». А про Волконского я знал, что он хороший математик.

В дневнике у меня записаны впечатления об этом собрании: *«Выступающие выражают страстную ненависть. Но направляют они ее куда-то мимо, не на истинных врагов. Лебедев со второго потока горячо говорил: „У нас не может быть Венгрии. Если у нас какие-нибудь контры вздумают вешать коммунистов, они сами будут выброшены на свалку“. Трагедия в том, что эти ребята из редакции – умные люди, они все, кажется, отличники. Они могут двигать науку. Какие они враги? Они выступают против всяких глупостей. В этом конфликт. Коммунизм должны отстаивать умные и честные люди. А дураки, которых много и среди коммунистов, только портят дело».* В общем, мне хотелось видеть в этом конфликте борьбу чего-то свежего, честного, умного с консервативной тупостью и твердолобостью. Но мне нужно было, чтобы это свежая струя не разрушала дорогие мне идеалы, а была направлена лишь на очищение их.

В этой записи про собрание больше всего меня волнует то, как я проголосовал, вернее, не проголосовал: *«Когда вопрос о поддержке решения бюро об отчислении поставили на голосование, все проголосовали „за“. Я не проголосовал, собирался воздержаться. „Против“ никого не было. А когда спросили: „Кто воздержался?“ – снова никто не поднял руки, и я не поднял. Ясно, что мгновенной силой, задержавшей мою руку, было нежелание обнаружиться. Пожалуй, можно сказать, что струсил. Но откуда это единодушие? Я уверен, что большинство проголосовали искренне. Не нравится мне все это. Какая-то машина сработала. У меня нет ненависти к этим ребятам. Это у меня не „отсутствие политической зрелости“, как сказал бы Павленко, а просто я считаю, что их бы надо перетянуть на нашу сторону, а не выгонять. Вот Шлихтер это понимает. Домой пришел в мрачном настроении. Что ж, теперь, когда вопрос об исключении будет обсуждаться на комсомольских собраниях, придется поддерживать решение партсобрания. Завтра проведу собрание партгруппы. Схожу еще в партбюро. Надо хоть почитать эти статьи из бюллетеня. А сам „Литературный бюллетень“ надо бы сохранить, пусть и с обновленной редакцией. Еще завтра хочу написать в „Московский университет“ заметку о Шлихтере, и дать всем нашим подписать».*

Заметку о Шлихтере я через несколько дней написал и дал ее подписать всем студентам нашего потока. Мне хотелось поддержать Шлихтера, противопоставив его тем университетским партийным руководителям, которые, на мой взгляд, не умеют работать с молодежью и портят дело, тем более что у нас на каком-то партсобрании Шлихтера даже критиковали за излишний либерализм. Заметка заканчивалась словами: *«В Артемии Александровиче мы видим образец коммуниста, пламенного и умного пропагандиста идей коммунизма, человека высокой идейности и принципиальности. Мы просим кафедры общественных наук университета обратить серьезное внимание на необходимость широкого распространения опыта Шлихтера. Главный секрет его успеха – в широте знаний, страстной убежденности, в умении обращаться не только к мыслям, но и к чувствам своих слушателей».* Около ста человек подписали мою заметку. Она была опубликована в «Московском университете» 23 ноября.

На следующий день после того партийного собрания мы с одним пятикурсником-коммунистом сходили в партбюро, попросили дать нам прочитать статьи из бюллетеня. В бюро их не было, но в конце концов заместитель секретаря бюро Малышев откуда-то принес отпечатанные листочки со статьями. В статье Стоцкого речь шла о только недавно переизданной книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» об Октябрьской революции. Там, действительно, во всех цитатах из книги Ленин всегда упоминается вместе с Троцким. Для советского читателя в то время упоминание Троцкого в положительном контексте, тем более через запятую после фамилии Ленина, казалось невиданным кощунством. Мне такой набор цитат показался просто неуместным эпатажем, хотя на самом деле в книге Рида, видимо, трудно найти место, где бы Ленин упоминался отдельно от Троцкого. Статья Белецкого была посвя-

щена литературному критику Марку Щеглову, с которым Белецкий был знаком. Эта статья мне не понравилась. Я почувствовал в ней полное неприятие советской литературы и всей советской системы. Я к этому не был готов.

Сейчас, когда я это пишу, я нашел в интернете очень интересные мемуарные записки Белецкого, где он пишет и о тех событиях вокруг бюллетеня. Из этих записок видно, что я тогда был прав, увидев в нем непримиримого антисоветчика. У него уже тогда была четкая оценка и сталинизма, и венгерских событий, а мне еще было далеко до этого. Он интересно описывает свое состояние после XX съезда, когда он вдруг, примерно на полгода, вплоть до венгерских событий, стал восторженным сторонником Хрущева. Также в интернете я нашел, что сейчас Белецкий является довольно известным политологом в Киеве и одним из руководителей Международного радио Украины. Интересно, что в этих своих мемуарах, несмотря на свое уже в юности сформировавшееся неприятие советской идеологии, Белецкий дает положительную оценку Шлихтеру. Говоря о преподавании идеологических дисциплин в университете, он пишет: «Цель этих предметов очевидна – промывание мозгов. Советский человек, находящийся на определенном уровне грамотности, всю жизнь – от школьной парты до гробовой доски – должен быть погружен в атмосферу советской идеологии. В школе – уроки, в университете – лекции, на работе – политинформация... Как я относился к этим предметам, нет надобности писать... Все лекторы и преподаватели по этим предметам – личности абсолютно бесцветные, какие-то выцветшие... А вот политэкономия, читавшаяся на 3-м курсе, составляла исключение, и отношение к ней было совсем другим. Я это связываю с личностью лектора – Артемия Александровича Шлихтера. Было в нем что-то, вызывающее уважение практически у всех, и у меня в том числе. Более того, можно сказать, что его любили. Он воспринимался как живой человек, думающий, говорящий то, во что верит. Кажется, он был из рода старых, еще дореволюционных большевиков – во всяком случае, эта фамилия где-то в истории мелькала. Высокий представительный мужчина с аккуратной щеточкой усов. Выработанная манера держаться и говорить – спокойно и уверенно. (Мне передавали высказывание одной из наших девушек: „Интересно, какой он как мужчина“. Замечу, по нравам того места и времени, высказывание очень нестандартное.) К тому же политэкономия – не такой мертвый предмет, как другие идеологические. Там можно было найти живые и интересные темы, и Шлихтер их находил. Его действительно иногда было интересно послушать. Доверие к нему было настолько велико, что студенты нередко обращались с вопросами, не относящимися к его предмету, а носящими общеидеологический характер, и получали достаточно убедительный ответ. Мне остается констатировать: вот ведь и так бывало».

Еще один материал бюллетеня был посвящен обсуждению романа Дудинцева «Не хлебом единым» в Доме литераторов и у нас на филологическом факультете. В частности, там было опубликовано выступление Константина Паустовского, где он, говоря об одном из героев романа, директоре Дроздове, противостоящем главному герою изобретателю Лопаткину, вспоминает свое недавнее зарубежное путешествие на теплоходе, где он встретился с такими Дроздовыми, занимавшими каюты люкс и 1-й класс. Он говорит, что так называемая советская номенклатура превратилась в слой общества, оторванный от народа, отличающийся невежеством, спесью. Выезжая за границу, они позорят нашу страну. Эти выступления писателей произвели на меня впечатление. Дома я записал в дневнике: «*Сильно там писатели говорят, Я как-то заколебался. Главный вопрос: являются ли Дроздовы неизбежным порождением нашей системы. Надо подумать. „Не хлебом единым“ я сейчас дочитываю. Лопаткин мне чем-то не нравится. Надо подумать*». Вспоминаю разговор с членом нашего партбюро Малышевым, который, поругивая «Не хлебом единым», утверждал, что встречал таких полусумасшедших самоучек-изобретателей Лопаткиных, которые своими невежественными проектами не давали покоя квалифицированным инженерам. Такую же точку зрения на образ Лопатина повторил чуть позже наш профессор Гельфонд, о чем я еще напишу. В этом взгляде на Лопат

тина, может быть, и есть доля истины, но официальные-то критики обрушивались на Дудинцева не из-за Лопаткина, а из-за Дроздова. И я в своей записи правильно уловил причину, по которой этот роман всем показался таким острым.

Записи в последующие дни:

«19 ноября. Сегодня, как и предыдущие дни, занимался в основном политикой. Перед началом лекций к нам в аудиторию зашел наш инспектор и зачитал приказ об отчислении из университета Стоцкого, Белецкого и Вайнштейна, а также Янкова, но его за другие дела – он пытался устроить бойкот студенческой столовой. Кажется, это еще приказ деканата, а его должен утвердить ректор. Сережа Смоляк сразу кинулся собирать бюро потока. Договорились во время лекции по физике уйти заседать. Во время заседания я им рассказал о статьях бюллетеня, сказал, что надо четко понять, в чем ошибки редакции, и на собрании при разборе дела Стоцкого надо критиковать его по существу, чтобы он сам понял, за что его критикуют. Пришел еще Володя Левенштейн, он сейчас член вузкома. Он тоже сказал полезные вещи. Члены бюро воспринимали все довольно правильно, соглашались, что осудить нужно, но считали, что Стоцкого нужно бы оставить в университете. Я предлагал сначала поговорить в партбюро. Хотели уже назначить собрание потока, но потом узнали, что на завтра назначен комсомольский актив факультета. Решили проводить собрание после актива. Сегодня в газетах много интересного. Опубликована совместная декларация с польским ЦК, не все мне там понравилось. А в речи Хрущева смотрю – ругает кого-то за рекламу своей особой модели социализма. Понял, что про Тито, и действительно, на третьей странице увидел комментарии к выступлению Тито, где его критикуют за оппортунизм. Давно бы так! Поторопились с объятьями».

«22 ноября. Сегодня должен был состояться актив факультета по поводу всех этих персональных дел. Подхожу я к аудитории 16—10, кишмя кишит людьми. Шлихтер пробивается внутрь. Колмогоров и Сагомоян стоят снаружи. Решили перенести в аудиторию 16—24 и туда пропускать только выборный актив. Все рванули туда, и там у дверей образовалась давка. Потом слышу, что вообще отменили. Но народ не расходился. Стояли кучками сначала на 16-м этаже, потом на 13-м у перехода в общежитие. Наконец центр споров перенесся в общежитие на 18-й этаж возле гостиной. Я влез в спор с каким-то чужим парнем, который проповедовал, что надо ввести коллективное руководство на производстве. Тут меня поддержал Сережа Смоляк: „Это Вы предлагаете рабочие советы, как в Югославии? А Вы знаете, как это там пагубно сказалось на экономике?“ Еще кто-то ему стал возражать. Потом вдруг Яценко горячо на него обрушился: „Что Вы тут ходите, нашептываете! Кто Вы такой?“ Тот сразу ушел. Потом я его увидел в толпе на 13-м этаже. Мне захотелось с ним доспорить, тем более что он говорил не абсолютную чушь. Я ему предложил зайти ко мне попозднее, часов в 10. Он согласился. Еще в одной толпе ораторствовал Лебедев, который на партсобрании говорил про то, что мы не допустим у нас Венгрии. Говорил горячо, но глуповато. Когда он стал говорить о статье Стоцкого про книгу Рида, оказалось, что он путает Джона Рида с Майн Ридом. Я подошел, хотел немного помочь Лебедеву, сказал, что глупо выпячивать Троцкого. В толпе стояла Ира Кристи с третьего курса, дочь того режиссера, который приходил к нам ставить „Горе от ума“. Она горячо защищала Белецкого, говорила, что он замечательный человек и спас ее от какого-то грабителя. Я в 8 часов сходил в кино, посмотрел „Человек родился“. Вернулся в 10 в общежитие, Там мой оппонент уже ждет меня. Парень с густыми черными бровями, довольно взрослый. Потом он мне рассказал, что окончил физфак и зовут его Володя. Он предложил мне пойти к его знакомой на 17-й этаж. Ею оказалась Люся Пигина с нашего курса. Она механик, я ее плохо знаю. Володя стал мне излагать свою политэкономия. Ввел категорию „средняя потребность к труду“, и какое-то еще „сред-

*нее сознание капитализма“. Мутноватые понятия. Снова ратовал за отмену начальников. Упомянул, что на каких-то наших заводах были забастовки. Когда узнал, что я коммунист, стал меня обвинять в том, что я не знаю азов марксизма. В общем, тип весьма самоуверенный и неприятный, но умный. Я его попробовал убедить поговорить с нашим Шлихтером. Проговорили с ним до 12, Первый раз, пожалуй, поговорил с таким последовательным проповедником антисоветских настроений. И не сказал бы, что я очень убедительно ему возражал».*

Актив состоялся на следующий день, 23 ноября, в большом зале Дома культуры. Начался он в 10 утра и длился до шести вечера. Снова весь зал был набит народом, а зал вмещает более 600 человек. Присутствовало все партийное начальство факультета, наш декан Колмогоров, заведующий отделением математики академик Александров и даже ректор Петровский. Мы с Борисом Митягиным сидели в первом ряду балкона, и Борис записывал все выступления. Я потом попросил его отдать мне эту тетрадку с записями, она у меня долго хранилась, но, к сожалению, со временем куда-то пропала. Большинство выступавших защищало редакцию, и это отражало общее настроение собравшихся. В своих воспоминаниях Белецкий пишет: «У меня, как, наверное, и у других моих товарищей по „Бюллетеню“, было ощущение, что мы присутствуем на своем чествовании». Белецкий, кстати, не был комсомольцем, но актив проголосовал за то, чтобы его пригласить. Актив также потребовал, чтобы президиум ознакомил собрание с текстом статей. Пришлось газету принести и зачитать. Во время чтения какие-то фразы из статей вызывали аплодисменты. Однако почти все защитники членов редакции считали своим долгом осудить их за какие-нибудь просчеты, нечеткость политической позиции, и даже соглашались с вынесением выговора. Главным было желание не допустить исключения из университета. Я тоже был против исключения, но резко оппозиционные выступления меня раздражали. Меня, например, возмутило выступление пятикурсника Смолянина, сравнившего преследование членов редакции с методами царской охранки и со сталинскими методами. Но раздражала меня и резкая, неумная, на мой взгляд, критика бюллетеня, с которой выступали члены партбюро, в основном, механики. А те критические выступления комсомольцев, в которых была попытка как-то проанализировать, в чем не правы авторы бюллетеня, вызывали мою симпатию. Особенно мне понравилось, что большинство проголосовало за то, чтобы удалить с актива Янкова, который объявил, что не согласен с Уставом комсомола. В целом обсуждение мне нравилось, нравилась бурная эмоциональная реакция зала на выступления. Мне хотелось во всем этом видеть доказательство того, что комсомольцам не безразлична политика, небезразлична судьба своих товарищей.

Колмогоров и Петровский, конечно, не могли игнорировать мнение партийного начальства, должны были в какой-то форме осудить материалы газеты. Я не помню, что говорил Колмогоров на этом собрании. Он оказался между двух огней. С одной стороны на него давило партбюро, с другой – студенты, его ученики. Он был тесно связан с пятым курсом, с которого было большинство членов редколлегии бюллетеня. Ранее, еще на третьем курсе он им читал свой курс «Анализ III», у него было несколько дипломников с этого курса, в том числе и Белецкий был его дипломником. На активе в защиту членов редколлегии выступал третькурсник Дима Арнольд, ученик Колмогорова, восходящая математическая звезда, который вскоре, кажется, в том же году, станет известен тем, что решит, вместе с Колмогоровым, тринадцатую проблему Гильберта. Я выступление Арнольда не запомнил, но Белецкий в своих воспоминаниях о нем упоминает. Другим учеником Колмогорова с пятого курса был Володя Тихомиров, который годом ранее был секретарем комсомольского бюро на своем курсе. Он тоже входил в редакцию бюллетеня, но в этом крамольном номере не участвовал, так что его пока не трогали. Он позднее написал очень теплые и интересные воспоминания о Колмогорове, в которых он, упоминая этот эпизод, говорит, что Колмогоров тяжело переживал всю эту ситуацию. Многие партийные деятели на мехмате были не довольны тем, что Петровскому удалось

назначить беспартийного и от них независимого Колмогорова деканом факультета, и они были готовы использовать любую возможность, чтобы дискредитировать его как руководителя. Петровский тоже был беспартийным, и ему тоже была крайне невыгодна вся эта история с бюллетенем. Его выступление мне не очень понравилось. Чувствовалась растерянность. Запомнилась его обращенная к залу фраза: «Куда вы катитесь?!» Выступил и Александров. Он был опытным оратором, хорошо понимавшим, что нужно в этой ситуации сказать. Он нашел какие-то не очень резкие слова осуждения, сказав, что бюллетень ему не понравился слишком мрачным настроением, тем, что авторы не видят ничего положительного в нашей жизни. Как всегда, мне понравилось выступление Шлихтера. Он повторил свой излюбленный тезис о важности укреплять государство и о заслугах Сталина в этом отношении, сказал, что не бывает «свободы вообще» и наша свобода называется диктатурой пролетариата. Это было вполне созвучно с моим настроением. Из всех выступавших преподавателей только молодой Добрушин, ученик Колмогорова, безоговорочно высказался в защиту ребят из бюллетеня. Он, кстати, вел у нас на третьем курсе семинарские занятия по теории вероятностей. У меня в дневнике записано, что его выступление вызвало бурю оваций, но мне оно не очень понравилось. Я записал его фразы типа «не ошибается тот, кто не думает», которые мне показались избитыми истинами, использованными в демагогических целях. В общем, судя по этим записям, мне в это время все же ближе по мировосприятию были те, кто осуждает ребят из редакции.

После актива в партбюро было несколько совещаний по его итогам. Я там упорно возражал тем, кто говорил, что актив – это сплошное безобразия, что большинство актива поддержало антисоветские настроения. Я настаивал, что надо видеть положительные стороны актива, нельзя отталкивать от себя комсомольцев, в идеологической работе нужно опираться на комсомольский актив. Еще я говорил о том, что сама идея издания «Литературного бюллетеня» на мехмате прекрасна, это здорово, что наши студенты не замыкаются в своей специальности, а проявляют широту интересов. Это и для успеха воспитательной работы важно. И я предлагал не закрывать бюллетень, а сохранить его. Хорошо бы и редакцию сохранить, пусть и в несколько измененном составе. Со мной в принципе соглашались, но продолжали настаивать на выполнении решения партсобраний об исключении основных членов редакции.

Через несколько дней после актива у нас на потоке прошло собрание с обсуждением персонального дела Стоцкого – с нашего курса он один участвовал в бюллетене. Накануне проект решения с вынесением выговора Стоцкому мы писали в моей комнате в общежитии вместе с секретарем нашего потокового комсомольского бюро Виталиком Беленьким. К этому времени, видимо, партком университета и наше партбюро уже решили не настаивать на исключении из комсомола и университета всех авторов этого бюллетеня. В конце концов, исключен из университета был только Белецкий. Стоцкому объявили выговор, из университета не исключили, но посоветовали уйти в академический отпуск по состоянию здоровья. Пришлось уйти в отпуск и Сереже Смоляку с нашего курса, который тогда был у нас членом потокового комсомольского бюро. Он тоже опасался исключения за слишком резкое выступление на собрании актива, в котором он высказался против вмешательства нашего партбюро в комсомольские дела, приведя в пример физфак, где партбюро очень мягко обошлось с авторами похожей стенгазеты, вывешенной на факультете. Сережа больше года проработал на каком-то заводе и закончил мехмат с задержкой на два года. Возможно, эта его работа на заводе стала для него дополнительным стимулом для занятий математическими методами в экономике. В будущем он стал довольно известным экономистом.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.